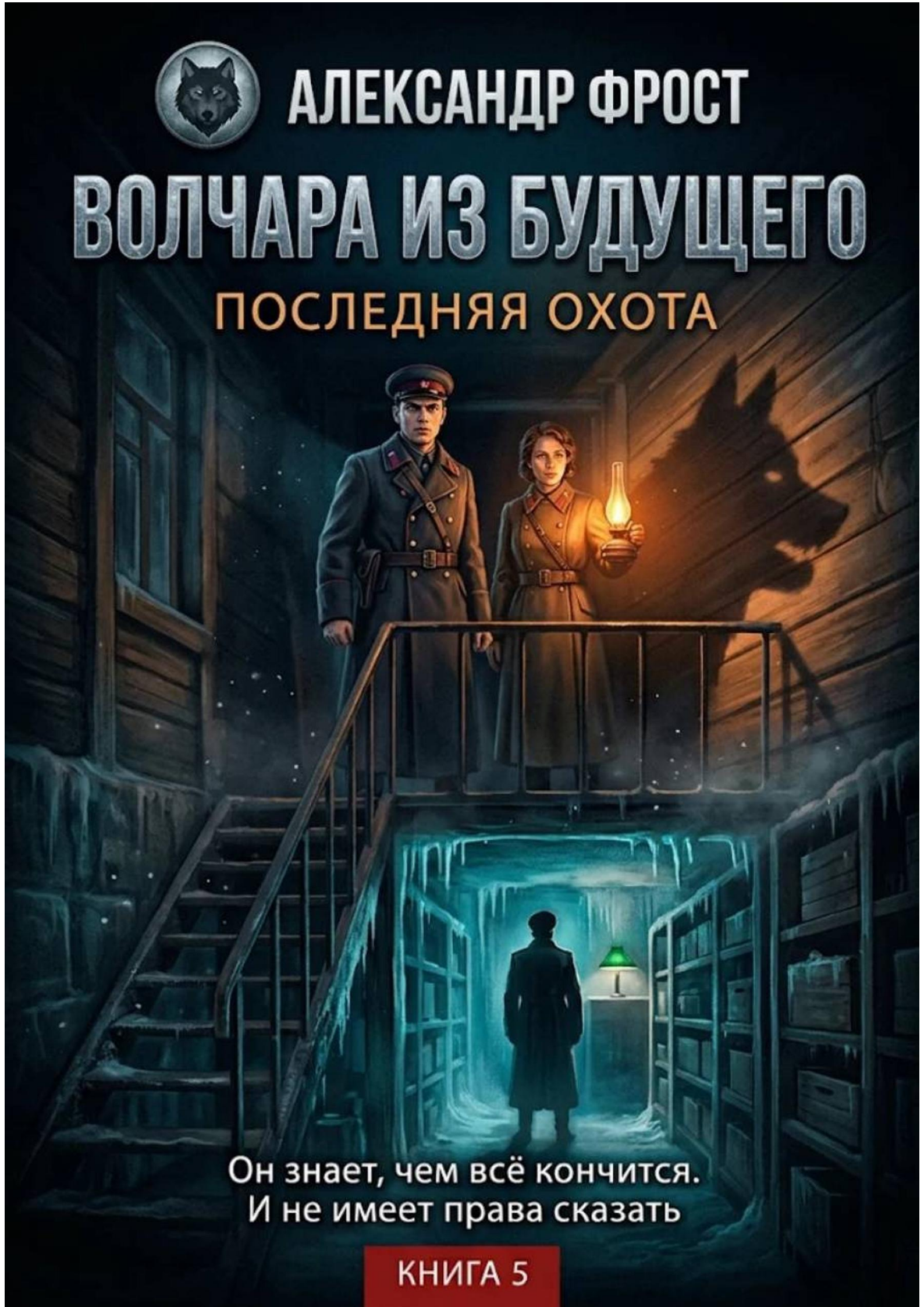
АЛЕКСАНДР ФРОСТ

ВОЛЧАРА ИЗ БУДУЩЕГО

ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА



Он знает, чем всё кончится.
И не имеет права сказать

КНИГА 5

Александр Фрост

Волчара из будущего. Последняя охота

«Автор»
2026

Фрост А.

Волчара из будущего. Последняя охота / А. Фрост — «Автор», 2026

Хабаровск, январь 1941 года. Пропадает пятнадцатая женщина. В бумагах убитой находят бланк на имя старшего лейтенанта Беловой.Улик у капитана Волченко нет: только даты, выписки из гаражной книги и тетрадь убитой. Каждая бумага, которая могла бы что-то доказать, лежит там, где её никто не ищет.Свидетели один за другим исчезают, а до двадцать второго июня остаётся время, на которое хватит одной ночи.

© Фрост А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1 5
Глава 2 11
Глава 3 17
Глава 4 24
Глава 5 30
Глава 6 37
Глава 7 43
Конец ознакомительного фрагмента. 48

Александр Фрост
Волчара из будущего. Последняя охота

Глава 1

Приказ о курсах так и остался лежать у Зины в папке «на подпись», и пятого января, в воскресенье, в Москве начались занятия без Волченко.

Он узнал об этом в понедельник, когда Гусев, красный от мороза, влетел в кабинет с папиросой за ухом и сказал, что Корнеев звонил в семь утра. «Принято, — сказал, — к сведению». Больше ничего. Положил трубку. Гусев пересказывал это три раза, каждый раз с новыми интонациями, как пересказывают чужой сон, в котором не поймёшь, к добру ли.

— Ты понимаешь, что это значит? — спросил он.

— Что мы остались.

— Что мы остались, — повторил Гусев и обессиленно сел. — А я думал, он обидится. Ты знаешь, как они обижаются. Не словами. Бумагой.

Волченко не ответил. Он смотрел в окно на двор, где дворник скалывал лёд с гранитных ступеней крыльца, и считал удары: глухие, по три на ступень. Мороз стоял двадцать восемь. За стеклом на проводах сидели воробьи и перепрыгивали с ноги на ногу, как люди на остановке.

Белова вошла с папкой, положила на стол, сказала: «Протоколы по ночным кражам, подписать до обеда», и вышла. Она разговаривала с ним так с ноября: коротко, по делу, глядя в бумаги. Они не ссорились. Они работали. Каждое утро она приносила чай, каждый вечер уносила стаканы, и между этими двумя жестами не помещалось ни одного слова, которое нельзя было записать в протокол. В подвале на стене висела карта с красными булавками: четырнадцать, по числу тех, кого они считали. Пятнадцатой булавки не было, и на стену никто не смотрел.

* * *

Рождество справляли у Беловых в ночь на седьмое, по-тихому, с занавешенными окнами и без свечей. Анна Николаевна сказала: «Я учительница, мне не положено», и накрыла стол скатертью в красную клетку. Пришли немногие. Зильберман принёс бутылку цикория и банку малинового варенья, которые носил с собой всю осень, как амулет. Агафья Матвеевна пришла с палкой и узелком, перекрестилась на пустой угол, где раньше висела икона, и поставила в центр стола миску солёных груздей. Цой привёл Тихона, который лёг у ног Анны Николаевны и положил морду ей на ботинок. Орлова, румяная, поправившаяся, подстриженная по плечи, подавала чай. Она жила здесь с августа, помогала на кухне, читала Анне Николаевне вслух «Дубровского» по вечерам и не выходила на улицу без платка, надвинутого на лоб.

За столом разговаривали о пустом. О ценах на соль. О валенках, которые Цой отдал в починку и не мог получить уже месяц. О том, что в клубе железнодорожников дают «Волгу-Волгу» и что Лидочка с третьего этажа выучила все куплеты и поёт их на лестнице.

— Мама, а помнишь, — сказала Белова и осеклась.

Анна Николаевна взглянула на неё поверх очков.

— Что, Леночка?

— Ничего. Не помню, что хотела сказать.

На кухне звякнула ложка о стакан: Орлова мешала сахар. Один раз, другой, третий, мерно. Волченко, державший в руках чашку, замер. Звук был тонкий, стеклянный, и в нём на секунду прозвучало другое: дальнее, из-за стены, из чужого времени, как стучит по ободку

кружки женщина в белом халате, ставя поднос рядом с кроватью. Он знал её имя. Оксана. Он слушал, пока Орлова не перестала мешать, и звук ушёл сам, не оставив ничего.

— Вы побледнели, — сказал Зильберман.

— Устал.

— Мы все устали. — Старый врач положил ложку в варенье. — Но от усталости не бледнеют. От неё серьёзнеют.

Позже, когда женщины убирали со стола, Зильберман подошёл к окну, чуть отодвинул занавеску и долго смотрел на тёмный двор. Он держал в руке пустую рюмку, из которой не пил.

— Я был на кладбище в воскресенье, — сказал он вполголоса, не оборачиваясь. — У Веры. Земля уже каменная, лопатой не взять. Но табличку кто-то выправил. Накренилась после оттепели, а теперь стоит ровно. Кто, не знаю.

— Агафья Матвеевна, — сказал Волченко.

— Она не ходит так далеко. — Зильберман повернул голову. — Я подумал: может быть, он. Те, кто убивает, иногда возвращаются. Я читал.

— Где?

— У старых психиатров. Не у нас. — Он поставил рюмку на подоконник. — Я не уверен. Но я вторую неделю хожу туда по утрам и смотрю на следы. Свежие бывают не каждый день. Меня это не пугает. Меня это успокаивает: значит, кто-то помнит.

* * *

Анна Дмитриевна пришла в угрозыск в пятницу, десятого, в восемь утра, и Мухин, дежуривший с ночи, сначала не хотел её пускать: она стояла у барьера в тёплой косынке, закутанная в старое драповое пальто, и от неё пахло карболкой, мокрой шерстью и больничной кашей. Ей было лет пятьдесят пять. Руки у неё были красные, распухшие в суставах: руки человека, который всю жизнь возил воду и тряпки.

— Я к капитану Волченко, — сказала она. — Он меня знает.

— Откуда? — спросил Мухин.

— Он в августе приходил к Алексею Павловичу. В седьмую палату. Я кашу носила.

Мухин не стал спрашивать дальше. Он поднял трубку и набрал номер подвала.

Волченко спустился через минуту. Он узнал её не сразу: тогда, в госпитале, она показалась ему сварливой, сильной, привычной к приказам, а сейчас перед ним сидела на краешке стула старая женщина, которая стискивала в узловатых пальцах платок, как стискивают последнюю монету.

— Вы Анна Дмитриевна, — сказал он.

— Да, милок. Санитарка из окружного военного. Со вторника на дежурстве, домой не уходила.

— Что случилось?

— Валя пропала.

Он ждал, пока она заговорит. В комнате наступила тишина, нарушаемая только тиканьем часов на стене и далёким стуком машинки Зины за перегородкой.

— Рыбникова Софья Ильинична, — сказала Анна Дмитриевна. — Двадцать шесть лет. Ночная санитарка, со мной на одном этаже. Мы её Валей звали, не знаю почему: Софья, а все Валя. Она с Биробиджана, комнатка при больнице, без прописки. Вчера отдежурила, сменилась в восемь утра, ушла спать. В пять к ней приходил человек. Ну, на проходной сказали. Сказал, что из жилотдела, насчёт прописки. Она вышла к нему, надела жакет, бросила: «Я скоро». И не вернулась. Ночью на смену не пришла.

— Лицо?

— Вахтёр на проходной не запомнил. Говорит: хороший такой, вежливый. Руки в перчатках, кожаных, снял, как вошёл, и подал руку, поздоровался. Вахтёр потом говорил: «Как у начальства. Вежливо, а дело сделано».

Белова вошла в комнату и остановилась в дверях. Лицо у неё было спокойное, как всегда, но Волченко видел, как побелели пальцы на дверной ручке.

— Анна Дмитриевна, — сказала она. — Вы заявляли в госпитале?

— Заявляла. Начальнику. Он велел не лезть: «Не наше дело, вольнонаёмная». Заявила в милицию на Карла Маркса: там сказали: «Не прописана, значит, уехала». — Она подняла глаза. — А я знаю, что не уехала. У неё чемодан остался, и ножницы её нет. Бандажные, с загнутыми концами. Она их всегда с собой брала: у санитарок так положено.

В комнате никто не пошевелился.

— Ножницы, — повторил Волченко.

— Да. А что?

— Ничего. Продолжайте.

Анна Дмитриевна мяла в пальцах платок, потом, не поднимая головы, сказала:

— Я не знаю, зачем говорю. Но у меня сердце болит. Она хорошая девочка. Тихая. Всё, бывало, в тетрадочку записывает. Что видит.

— В тетрадочку?

— В школьную, в клеёнчатой. Она говорила: «Тётя Аня, у меня привычка, я с детства всё в тетрадь». Я смеялась.

Волченко посмотрел на Белову. Та сидела не двигаясь, сжав губы. Потом медленно встала и отошла к окну.

* * *

Общежитие при госпитале помещалось в бывшей конюшне: длинном, одноэтажном, обшитом тёсом бараке, где по обе стороны коридора тянулись двери с номерами. Комната Рыбниковой оказалась девятой, в самом конце. Вахтёрша, старуха с красными глазами, отперла ключом и осталась в коридоре.

Внутри было чисто, холодно и пусто. Железная койка, аккуратно застеленная серым одеялом. Табурет. Стол с клеёнкой в цветочек, на нём гребень и кружка. На стене открытка: вид на Биробиджанский вокзал, подписанный выцветшими чернилами «Сонечке на память». Чемодан под кроватью, фанерный, с замком. Белова опустилась на колени, открыла: бельё, две пары чулок, томик «Каштанки», завёрнутый в газету, пара заштопанных варежек, паспорта не было.

— Где она держала записи? — спросил Волченко вахтёршу.

— Не знаю, милок. Она не показывала.

— Кто ещё ходил в комнату?

— Никто. Ключ у меня.

— Кто приходил вчера?

Вахтёрша поправила платок.

— Я говорила: человек. Из жилотдела. Хороший. — Она вздохнула. — Вы не думайте. Я его пропустила потому, что гражданский. У нас тут военных пускают по спискам, а он: «Я по линии управления», и показал бумагу. С печатью. Мне некогда было читать. Я смотрела на его пальто.

— Пальто?

— Хорошее. Не нашенское. Тёмное, тяжёлое, воротник бархатный. У нас в Хабаровске таких нет. — Она замялась. — Ну, у начальства есть. У тех, кто сюда лечиться приезжает.

Белова подняла голову от чемодана.

— Он говорил что-нибудь?

— Спросил: «У вас тут, мамаша, чисто». Я сказала: стараемся. Он сказал: «Это хорошо. Чистота — залог доверия». — Вахтёрша покачала головой. — Больше ничего. Я только подумала: какие слова странные. Книжные.

Волченко достал блокнот и записал: «Чистота — залог доверия». Подчеркнул один раз и не стал додумывать.

* * *

В госпиталь они поехали в субботу, одиннадцатого, вдвоём с Беловой, и начальник, полковник медицинской службы с седой щёткой усов и красными от недосыпа глазами, принял их в кабинете с портретом наркома здравоохранения над столом. Он не предложил сесть.

— Вольнонаёмная, — сказал он, выслушав. — Не состоит на довольствии. Если уехала, не наше дело.

— Она не уехала, — сказал Волченко. — Человек из жилотдела увёл её с проходной.

— Из какого жилотдела?

— Это мы выясняем.

— Ваше право. — Полковник сцепил руки на животе. — Но вы, капитан, на территорию военного учреждения входите без санкции военного прокурора. Я вас принял из уважения. Книгу дежурств, журнал ночного поста, списки посетителей предъявлять не буду. Запросите через прокуратуру фронта.

— Сколько это займёт?

— Месяц. Может, два.

Волченко кивнул. Он смотрел на портрет, на аккуратные усы человека в пенсне, на тяжёлую чернильницу в виде якоря, и думал о том, что слова «по линии управления» работают здесь так же хорошо, как в общежитии у вахтёрши.

В коридоре их остановил дежурный врач: невысокий, нервный, лет сорока, с выбритой до блеска головой и воспалённым взглядом человека, который давно не спит. Он стоял у стенда с расписанием процедур и, увидев Белову, сделал полшага вперёд.

— Простите, — сказал он. — Мы, кажется, виделись.

— Нет, — сказала Белова.

— Вы заходили перед Новым годом. К Анне Дмитриевне. Двадцать первого числа, я запомнил: у меня в тот день был день рождения.

— Вы обознались.

— Возможно. — Он потёр переносицу. — Простите. У вас лицо знакомое. Я не люблю ошибаться.

Белова прошла мимо него, не меняя шага, и только когда они вышли на крыльцо, в морозный белый свет, Волченко заметил, что она держит в кулаке перчатку и мнёт её, медленно, с силой, как мнут бумагу.

— Вы бывали здесь в декабре? — спросил он.

— К санитарке, к знакомой. По личному делу.

— Вы не говорили.

— Это личное, Михаил Андреевич. — Она надела перчатку. — Я забыла.

Он не стал спрашивать дальше. Но на обратном пути, в кузове полуторки, глядя на её прямую спину в тулупе и на синюю полоску шали, он вдруг подумал, что за два года ни разу не слышал, чтобы Белова забывала.

* * *

Лукин принял заявление Анны Дмитриевны в понедельник, тринадцатого, в той же комнате, где красили в двадцать седьмом. Он прочитал его дважды, потом снял очки и долго протирал их краем рукава, прежде чем сказать:

— Дело я не возбуждаю.

— Почему?

— Нет тела. Нет следов. Есть заявление подруги о том, что вольнонаёмная ушла с неизвестным и не вернулась. — Он надел очки. — Это розыск. Не уголовное.

— Это то же самое.

— Для вас да. Для меня нет. — Лукин посмотрел на Волченко без выражения. — Вы ищете её живой. Я должен возбуждать только после того, как вы найдёте её мёртвой. Иначе мне придётся объяснить начальству, на каком основании я трачу бумагу на женщину без прописки.

— Николай Саввич.

— Я говорю не то, что думаю. Я говорю то, что скажут мне. — Он сложил руки на папке. — Найдёте тело, возбужу в тот же час. Обещаю.

Волченко ничего не ответил. Он вышел в коридор, где на подоконнике сидел и бил крыльями синица, залетевшая в форточку, и долго смотрел, как она бьётся о стекло, не понимая, что дверь в двух шагах.

* * *

Её нашли во вторник, четырнадцатого, в четвёртом часу дня, и нашёл пограничник.

Он ходил по береговой полосе под Утёсом, в полушубке и валенках, с винтовкой за плечом, с овчаркой на ремне, как ходят дозорные речной охраны, и у самой полыньи, там, где течение не давало льду встать до крещенских морозов, собака вдруг села и заскулила. Боец, молодой, красноносый, наклонился и сперва увидел только белую наледь, ступенчатую, сверкающую на солнце, будто стеклянная лестница; потом разглядел под её верхним слоем что-то светлое, продолговатое, и осторожно, прикладом, отколол корку.

Из льда торчала рука. Ладонью вверх.

Волченко приехал в половине пятого, на полуторке, с Беловой, Цоем и Тихоном, которого оставили в кабине. Зильберман уже стоял на льду, в тяжёлом пальто с бобровым воротником, и лицо у него было такое, что Волченко остановился в десяти шагах.

— Подождите, — сказал старый врач. — Я сам.

Он опустился на колени. Двое красноармейцев с пешнями осторожно, по слою, скалывали наледь вокруг тела: лёд отходил кусками, звонкими, голубоватыми, и под ним открывалось лицо. Женское. Молодое. Светлое, с закрытыми глазами, с тонкой коркой инея на ресницах. Тёмные волосы, заплетённые в короткую косу, вмёрзли в лёд, и их пришлось выдалбливать. Она лежала на спине, ладонями вверх, ногами вместе. Серый жакет застёгнут на все пуговицы. Платок на шее, сложенный треугольником. Сверху, прямо надо льдом, лежал еловый лапник: пихтовый, срезанный в одну сторону, схваченный морозом так, что ветки стали хрупкими, как стекло.

— Пять дней, — сказал Зильберман. — Максимум шесть. Мороз сохранил. — Он осторожно повернул кисть и показал запястье. — Левое. Три сантиметра. Одно движение.

— Веронал?

— Узнаю после. Но я не сомневаюсь. — Он стянул рукавицу, подул на пальцы. Потом, не поднимая головы, добавил: — Она хорошая санитарка была. Я её знал. Она ко мне в холодную

приходила по бумагам, из госпиталя. Аккуратная. Всегда спрашивала: «Яков Семёнович, а вам не страшно?» Я говорил: «Привык». Она: «А я нет».

Белова, стоявшая рядом с Волченко, не шевелилась. Лицо её, белое, тонкое, неподвижное, казалось вырезанным из той же льдины.

Цой подошёл со своей «Лейкой», присел, навёл. Затвор щёлкнул: один раз, второй, третий.

— Здесь, — сказал он.

Он указывал на то, что лежало у головы убитой, на самом льду, под тонким слоем инея: плоский прямоугольник, сложенный вчетверо. Лиловая печать на сгибе. Цой не стал прикасаться. Волченко опустился рядом на корточки, достал платок, поднял лист за краешек и развернул на колене.

Бланк. Тот же: чёрная рамка, «Выписка из ордера на право занятия жилой площади», водяной знак «1938», те же лиловые буквы печати «…кого края», та же обведённая подпись «Шульгин В. И.». Графы были заполнены. Тем же аккуратным, неторопливым, почти нежным почерком:

«Выдан гр. Беловой Елене Романовне. Состав семьи: мать. Адрес: не требуется. Срок действия: бессрочно».

Он не стал читать вслух. Он смотрел на лист, пока не услышал, как кто-то рядом выдохнул.

— Дайте, — сказала Белова.

Он протянул. Она взяла бумагу двумя пальцами и перечитала. Один раз. Лицо её не изменилось. Только на виске, под тонкой кожей, мелко-мелко забилась жилка, на каждый вдох.

— «Не требуется», — сказала она наконец. — Он не написал адрес. Ему не нужно.

— Елена Романовна…

— Это для меня. — Голос её был сухой, спокойный. — Он знает, где я живу. Знает мою мать. Пишет «бессрочно». — Она свернула бумагу и положила в карман кителя, поверх листка с тремя словами. — Я оставлю у себя. Это мой документ.

— Нет, — сказал Волченко. — Это вещественное доказательство.

— Тогда передайте Лукину. — Она взглянула на него. — Но не сегодня.

Она повернулась и пошла по льду вдоль кромки, прямая, закутанная в шинель, и через двадцать шагов остановилась у самой полыньи, глядя на чёрную, медленную воду, в которой плыли обломки льдин, лёгкие, как осколки стекла. Он видел её узкую спину и не мог найти слов.

Глава 2

Лукин возбудил дело в среду, пятнадцатого, в восемь утра, и первое, что сказал, подписывая постановление, было:

— Номер тысяча шестьсот шестой. По факту обнаружения трупа гр. Рыбниковой С. И. с признаками насильственной смерти.

Он не поднял головы. Перо скрипело по бумаге, как мышь по газете. В комнате, где красили в двадцать седьмом, пахло сургучом и холодным кофе, и на подоконнике, прикрытая блюдцем, остывала чашка, из которой хозяин, видимо, не отпил ни глотка.

— Я обещал, — добавил он. — Нашли тело, возбуждаю. Выполняю.

— Вы не должны были обещать, — сказал Волченко.

— Должен. — Лукин промокнул подпись. — Если не выполнять мелкие обещания, не останется сил на крупные. Это не мудрость, это бухгалтерия.

* * *

Зильберман закончил в холодной при городской больнице к девяти утра и вышел в коридор в клеёнчатом фартуке, с засученными рукавами, с лицом человека, которого не отпускает что-то, что он не хочет называть. Он снял очки, протёр их, надел снова и только тогда заговорил.

— Асфиксия руками. Подъязычная кость, левый рог. Левое запястье: три сантиметра, одно движение, прижизненное. Веронал, наверное: лаборатория подтвердит. Желудок: белый хлеб, масло, сладкий чай. — Он провёл пальцем по влажному краю фартука. — Всё как всегда. Только одно.

— Что?

— Она не спала в ту ночь. Нет. Не в ту, когда её убили. Она не спала вообще. Двое суток, судя по состоянию надпочечников. Это бывает у ночных санитарок, у сторожей. Но в последние часы перед смертью она плакала. Я нашёл на лице следы соли.

— Её не держали силой.

— Нет. Она пошла сама. Верила. Но плакала. — Он положил очки в нагрудный карман. — Я не знаю, почему. Вчера мне казалось, что я начинаю понимать этого человека, а сегодня снова не понимаю.

— Вы не должны понимать.

— Должен. Это моя профессия. — Зильберман усмехнулся без радости. — Видите ли, Михаил Андреевич, после Веры я перестал говорить «я виноват». Я начал считать. Это приятнее. Пятнадцать. Один и тот же человек. Пятнадцать раз. Я не сошёл с ума, потому что считаю.

* * *

Анна Дмитриевна пришла в четверг, шестнадцатого, в семь утра, и Мухин, дежуривший с ночи, на этот раз сам открыл ей барьер. Она стояла в том же драповом пальто, с тем же узелком на руке, но лицо у неё было другое: не потерянное, а окаменевшее, как после решения, которого нельзя отменить.

— Я принесла, — сказала она, не здороваясь. — Вот.

Она развязала платок. В нём лежала школьная тетрадь в клеёнчатой обложке: тонкая, потрёпанная, с загнутыми уголками и расплывшимся от влаги пятном на корешке. На обложке химическим карандашом было выведено мелко и аккуратно: «Рыбникова С. И. Заметки».

— Она сказала, что если с ней что-нибудь, чтобы я отдала. — Голос у Анны Дмитриевны не дрожал. — Под матрасом лежала. В комнате. Вахтёрша не заметила, обыскивали только сундук. Я вчера ночью пошла и взяла.

— Вы читали?

— Нет. Грамота у меня слабая. — Она посмотрела ему в глаза. — Но я знаю, что там. Она мне рассказывала. И я сама ей сказала недавно: «Валя, ты пиши, пиши».

— Когда недавно?

Она одёрнула платок на плечах.

— Перед Новым годом. — Голос стал тише. — Я себе этого не прощу.

Он не стал спрашивать дальше. Он взял тетрадь, развернул, и сразу, на первой же странице, увидел почерк: мелкий, чуть наклонённый, с аккуратными закорючками на «р». Рыбникова писала так, как пишут люди, привыкшие записывать быстро и не терять строчку.

Он отпустил Анну Дмитриевну, велел Мухину отвезти её домой на дежурной подводе и пошёл в подвал. Там, при зажжённой лампе, на столе, где в ноябре Белова чертила свои колонки, он читал до полудня.

«4 июля. Кухарка Дуся унесла две буханки в сумке. Заведующий видел и сделал вид, что не видел. Я тоже сделала вид».

«19 июля. Простыня на койке 3 рваная. Просила новую третий раз. Анна Дм. говорит: «Терпи, это армия».

«27 июля. Привезли лётчика с гангреной. Не спал трое суток. Я сидела с ним и молчала. Он сказал: «Спасибо, сестра». Не знаю, за что».

«1 августа. Привезли в седьмую капитана из Управления. Тихий. Говорит со всеми вежливо. Я принесла чай, он сказал: «Спасибо, без сахара». Первый раз вижу человека, который отказывается от сахара».

«8 августа. Ночью палата 7 ушла домой по разрешению нач. госп. (видела подпись на пропуске, расписался сам). В 22.15 ушёл. Вернулся 4.50. Койка не смята. Аня Дм. говорит: так положено начальству. А мне почему-то не нравится. Не знаю почему».

«17 августа. В 22.20 палата 7 снова ушла. Вернулся 5.10. На тумбочке всю ночь горела лампа: он, наверное, забыл погасить, но я не стала. На стуле висела шинель, я не смотрела».

«20 августа. Выписали капитана. Оставил Анне Дм. коробку конфет, нам по две. Сказал: «Спасибо за заботу». Я не стала их есть».

«21 декабря. Тётя Аня сказала, что к ней приходила милиционерша, спрашивала про ночёвки седьмой палаты. «Ты не записывала, Валя?» Я сказала: «Записывала». Она: «Молчи». Я промолчала».

«22 декабря. Дежурный врач Кац спросил: «Софья, ты ничего не пишешь?» Я сказала: «Нет». Соврала. Он как-то странно посмотрел».

«4 января. Кац бледный, ходит и крестится украдкой. Я не спрашивала».

«8 января. Завтра я схожу домой спать. В пять часов обещали человека из жилотдела насчёт прописки. Я не верю. Но если пропишут, то я перестану бояться ходить по ночам. Мне кажется, мне не страшно, только всё время холодно».

Больше записей не было. Остальные страницы чистые, голубоватые, с красной разлиновкой.

Он закрыл тетрадь. Рука, лежавшая на клеёнке, лежала не двигаясь, как лежит рука у человека, который боится нарушить что-то хрупкое. Он слышал, как за стеной в трубе булькает вода, мерно, на одной ноте. Лампа потрескивала. Под потолком, в узкой щели, серел зимний рассвет.

Он прочитал записи про август ещё раз. Восьмое. Семнадцатое.

* * *

Анна Дмитриевна вернулась в тот же вечер, в одиннадцатом часу, сама, пешком, через весь город. Она стояла у двери в подвал, согнувшись, держа обеими руками узелок, и Волченко, спустившийся на её стук, не сразу понял, зачем она вернулась.

— Я хочу сказать, — произнесла она. — Нельзя это при ней. Лучше при вас одном.

— При ком?

— При милиционерше. Белова. — Она покачала головой. — Вы не сердитесь. Это я виновата, не она.

Он провёл её в подвал, усадил на табурет, налил горячего чая из термоса, и она пила, не отрывая взгляда от кружки.

— Двадцать первого, перед Новым годом, она приходила, — сказала она, наконец. — Белова. В штатском, в платке. Принесла гостинец: пряники. Сказала: «Я к вам по знакомству, Анна Дмитриевна, помните меня?» Я помнила: она с вами была, в августе. Мы чаю попили. Она спрашивала про санитарок, про ночные смены. И вдруг, между прочим: «А как это у вас оформляется, когда больные уходят на ночь домой? Начальству положено, да?» Я сказала: по разрешению. И всё. Больше ничего.

— Больше ничего.

— Я потом, на кухне, Вале сказала. Не со зла. Просто как новость: «Милиционерша про ночёвки седьмой палаты спрашивала». — Анна Дмитриевна подняла глаза. Они были красные, сухие. — А Валя вся белая сделалась. Говорит: «У меня записано».

Волченко ничего не сказал. Он стоял, опершись ладонью о край стола, и слушал, как булькает вода в трубе.

— Дежурный врач в тот же день к ней подошёл, — продолжала старуха. — Кац. Я стояла за дверью. Он спросил: «Ты что-нибудь записываешь?» Она сказала: «Нет». А он: «Это хорошо. Потому что начальник интересуется». И пошёл звонить.

— Кому?

— Не знаю. Начальнику, наверное. — Она сжала платок. — Я себе этого не прощу. Я старая дура. Я думала, это свои.

— Это не вы.

— А кто? — Голос у неё сорвался. — Кто тогда?

Он не ответил. Он смотрел на лампу, на её жёлтый, нервный, дрожащий кружок на столе, и не нашёл слов.

* * *

Белова пришла в подвал около полуночи. Анна Дмитриевна к тому времени ушла, и Волченко сидел за столом один, перед тетрадью, раскрытой на странице с записью про двадцать первое декабря. Белова вошла, сняла шинель, повесила на гвоздь, остановилась.

Она увидела тетрадь. Потом его лицо.

— Вы знаете, — сказала она.

— Да.

Она не села. Она стояла посреди подвала, прямая, в форменной гимнастёрке, с чуть подрагивающими пальцами, и лицо её не менялось: бледное, спокойное, с тонкими губами.

— Двадцать первого декабря я ходила туда, — сказала она. — Из-за нашей ссоры. Не из-за вас. Из-за себя. Я лежала ночью, смотрела в потолок и не могла успокоиться. Я думала: он дважды его вытащил. Дважды. Я не верила. Я хотела проверить, чтобы доказать себе, что я не… что я не завидую.

— Чему?

— Тому, что вы ему верите. — Она усмехнулась коротко, сухо. — Я не про вас с ним. Я про то, что вам проще. Вы можете верить. А я не могу.

— Вы спросили про ночёвки.

— Я спросила просто. Мне казалось, это безобидный вопрос. Как оформляется. — Она сжала руки. — Я поняла, что сделала, только вчера, когда мы нашли Рыбникову. Когда я прочитала бланк. — Голос её сорвался. Она умолкла и закусила губу. — Я убила её, Михаил Андреевич.

— Нет.

— Да. Я спросила, Анна сказала, санитарка вспомнила, врач позвонил, и кто-то решил, что тетрадь нужна.

— Её убил он.

— Да. — Она подняла глаза. Они блестели, но слёз не было. — Но я дала ему повод. Я нужна ему была живая и рядом, а я сделала то, что нужно только мёртвой. — Она отвернулась. — Вы можете уйти. Можете отстранить меня. Я не возражаю.

— Елена Романовна.

— Что?

— Сядьте.

Она села. Не на стул, а на край ящика, стоявшего у стены. Сложила руки на коленях.

Он смотрел на неё долго. Лампа трещала. За стеной, в трубе, неровно, с задержками, булькала вода.

— Вы были правы, — сказал он.

— Что?

— В ноябре. Когда вы говорили «слишком вовремя». Вы были правы.

Она не шевельнулась.

— Я не хочу быть правой, — произнесла она, глядя в пол.

— Знаю.

— Я хочу, чтобы это был кто-то другой. Чтобы вы доказали мне, что это был кто-то другой. — Она подняла лицо, и в нём на секунду, сквозь всё напряжение, проступило что-то детское, беззащитное. — Но вы не докажете.

— Нет.

* * *

Хоронили Рыбникову в субботу, восемнадцатого, на Красной Речке, рядом с Зиминой и Верой, в трёх шагах от одной, в пяти от другой. Земля встала намертво: Ерофеев с двумя помощниками три дня жёг солому и берёзовые чурки, а потом ломом пробивал мёрзлую корку, и когда процессия подошла к кладбищу, на краю ямы лежала груда чёрной, дымящейся глины, смёрзшейся глыбами.

Пришли восемь человек. Анна Дмитриевна в драповом пальто и чёрном платке, не плачущая, с каменным лицом. Зильберман, не отходивший от гроба, по бобровому воротнику которого белел иней. Белова с матерью. Цой с Тихоном, оставленным у ворот. Мухин, как всегда, у калитки. Агафья Матвеевна не пришла, потому что слегла с простудой, но прислала с внучкой соседки красную ленточку, завёрнутую в чистый платок: «Положите, они все с лентой».

Никто не говорил речей. Анна Дмитриевна достала из узелка потрёпанную книжку в бумажной обложке, «Каштанка», та самая, что лежала в чемодане среди белья, и положила на крышку гроба.

— Она читала, — сказала она негромко. — Каждую ночь на посту. Знала наизусть, а всё равно читала. Говорила: «Тётя Аня, там добрые люди». А я ей: «Где?» — «В книге».

Белова бросила на крышку красную ленточку. Алое пятнышко мелькнуло и исчезло под первой горстью глины. Ком упал глухо, как падает не земля, а что-то тяжёлое и мягкое. Волченко смотрел на табличку, которую Цой вывел химическим карандашом: «Рыбникова С. И. 1914–1941». Дату смерти он поставил девятое января, и Волченко подумал, что в третий раз за год кто-то записал её на кресте точно.

Когда яма наполнилась, Зильберман снял шапку, постоял над холмиком и сказал, ни к кому не обращаясь:

— Четыре. Зимина, Вера, эта. И ещё Мурашова, но та на Уссури. Я вдруг подумал, что скоро у меня здесь будет свой участок. Свой квартал.

— Яков Семёнович.

— Я не жалуюсь. Я констатирую. — Он надел шапку. — Но если бы кто-нибудь спросил меня, о чём я думаю на кладбище, я бы сказал: что я хочу, чтобы это было последнее место. Чтобы после этого не копали.

Он повернулся и пошёл к воротам, и Волченко увидел, как на его пальто, на спине, между лопаток, тающими звёздочками садится снег. У ворот коротко, один раз, взвыл Тихон, и Цой, ничего не сказав, пошёл к нему через сугробы, ссутулившись, как ходят люди, давно привыкшие слушать собак.

* * *

Гусев вызвал его в понедельник, двадцатого, и кабинет на этот раз был натоплен так, что окно запотело: он сидел за столом без кителя, в расстёгнутой рубахе, с красным, мокрым от пота лицом, и перед ним на сукне лежали две папки, тонкая и толстая.

— Не по этому делу, — сказал он, уставившись в тонкую папку. — По другому. Но скажу про это.

— Слушаю.

— Госпиталь — не наше. — Он ткнул пальцем в тонкую папку. — Военное учреждение. Там свои прокуроры. Лукин возбудил, хорошо, но дальше дверь. Ты это понимаешь.

— Понимаю.

— Я не говорю, что бросай. Я говорю, чтобы ты не лез напролом. — Гусев вытер лоб рукавом. — Мне вчера звонили. Не из Управления. Из военной прокуратуры. Спросили: «Капитан Волченко часто бывает в окружном госпитале?» Я сказал: «По делу». Они: «По какому?» Я: «По убийству санитарки». Они: «Ага». И положили трубку.

— Кто звонил?

— Не назвался. Голос неприятный. Как у людей, которые никогда не повышают тон. — Он потёр шею под воротом рубахи. — Миша, я не знаю, что у тебя на уме. Но у тебя лицо, как у человека, который что-то понял.

— Что понял?

— Не знаю. Вот это и страшно.

Волченко стоял у двери и смотрел на толстую папку на столе. На ней, выведенное тушью, значилось: «Дело о прогулах. 1940». Две тысячи четыреста протоколов. Пыльная гора бумаг, которая за полгода не уменьшилась ни на лист.

— Фёдор Степанович, — сказал он. — Помните, вы говорили: «Если кто-то четыре года убивал одинаково, то искать будут не его, а того, кто не заметил»?

— Я это говорил?

— В тридцать восьмом.

— Говорил. — Гусев сжался в кресле. — Умный был.

— Это правда.

— Ещё бы. — Он поднял на него глаза: круглые, красные, жалкие, в которых вдруг, на секунду, мелькнуло что-то твёрдое. — Если ты что-нибудь найдёшь, не неси мне первым. Неси Лукину. Мне нельзя знать. Я не выдержу.

— Хорошо.

— И ещё. Если что, я ничего не говорил.

* * *

Он не спал две ночи. Первую просидел над тетрадью, перечитывая каждую строчку, вторую провёл в подвале, на табурете, перед картой, и когда утром двадцать четвёртого, в пятницу, вышел на улицу, мир показался ему вымытым и непривычно резким: каждое окно, каждый столб, каждая ступенька. В голове у него звучала одна нота: тонкая, без начала и конца, как провод, натянутый от одного времени к другому.

Он шёл мимо Управления на Пушкинской, мимо часового у шлагбаума, мимо чёрных окон на втором этаже, где горела единственная лампа под зелёным абажуром, и думал. Не о доказательствах. О том, что в августе, в палате номер семь, на чистой койке, лежал человек, который по ночам вставал, одевался, выходил на улицу и возвращался до рассвета, и что санитарка, мывшая полы, записала это в школьную тетрадь, потому что ей было почему-то не по себе.

Восьмое августа. Орлову заманили в тот вечер, на катере, к эллингу. Семнадцатое. Они лежали в третьей больнице, свет погас, и кто-то прошёл по коридору в белом халате, подоткнул одеяло и сказал: «Так легче».

Лампа на тумбочке горела всю ночь.

Он остановился посреди улицы. Мимо проехала подвода с дровами, возница крикнул что-то, но Волченко не услышал. Он стоял и видел то, что видел раньше, но не смотрел: гладкое лицо, светлые внимательные глаза, шахматы на подоконнике, чай без сахара. «Я не знаю, кто это делает», — сказал этот человек в палате номер семь. «Я думал об этом три месяца».

Человек, который отказывается от сахара. Который знает про каждого на своём этаже. Который дважды вытащил его, потому что ему нужно было, чтобы он был рядом.

Он поднял глаза. На втором этаже, в окне под зелёным абажуром, горела лампа. Мимо прошла женщина с кошёлкой, потом двое красноармейцев, споривших о чём-то, потом мальчишка с санками. Никто не посмотрел на окно. Он стоял и смотрел на него один, пока лампа не мигнула и не погасла.

Потом повернулся и пошёл в подвал.

Глава 3

— Правила, — сказал Волченко. — Три.

Был понедельник, двадцать седьмое января, одиннадцать вечера. В подвале горела одна лампа, на печке остывал чайник, и на стене, рядом с картой, висел лист обёрточной бумаги с одним словом наверху, которое никто не произнёс вслух: колонка, обведённая карандашом. Белова сидела на ящике у стены, в наброшенной на плечи шинели, с блокнотом на коленях. Цой, вызванный по телефону, стоял у двери и держал Тихона за ошейник.

— Первое, — продолжал Волченко. — Его имя в этой комнате не произносится. Ни при ком. Ни в шутку. Ни при Зине, ни при Паршине. Мы говорим «он».

— Хорошо, — сказала Белова.

— Второе. Мы продолжаем так, как продолжали. Те же доклады, те же рапорты, те же лица. Если он ждёт, что мы изменимся, мы не изменимся.

— Он заметит.

— Он заметит, что мы устали. Мы устали. Это правда.

— Третье?

Лампа потрескивала, и на стене дрогнула тень от Цоя. Тихон, почувствовав напряжение, заскулил, и Цой наклонился, положил ладонь ему на загривок.

— Третье, — сказал Волченко. — Никаких самодеятельных проверок. Не ходить, не расспрашивать, не спрашивать «как оформляется». Если кто-то из нас сделает что-то без остальных, мы потеряем ещё одного. — Он посмотрел на Белову. — Я говорю это не вам. Я говорю себе.

— Я понимаю.

— Не вам. Себе.

— Я поняла, Михаил Андреевич. — Она произнесла это негромко и твёрдо, как произносят присягу, которой не придают значения до дня, когда её приходится выполнять.

Цой переступил с ноги на ногу.

— А что нам нужно? — спросил он. — Если не спрашивать.

— Бумаги. — Волченко подошёл к карте. — Журнал дежурств госпиталя. Книга выездов гаража Управления. Свидетели, которые не побоятся. Рудь, который сидит в Москве. Орлова, которая знает голос. — Он провёл пальцем по строчке. — Ничего из этого у нас нет. Всё лежит за дверями, в которые нельзя войти.

— Значит, обойдём.

— Обойдём, — сказал он. — Через людей, которые стоят у этих дверей.

Белова записала. Она писала быстро, не поднимая головы, и только в конце, поставив точку, посмотрела на Волченко, и в этом взгляде, коротком, прямом, он впервые за два месяца не прочёл ни упрёка, ни просьбы, а только готовность работать. Цой тем временем нашёл в кармане сухарь, разломил пополам и дал половину Тихону, который принял угощение с достоинством старого служаки.

— Мухин, — сказала она.

— Что Мухин? — спросил Волченко.

— Он знает всех. И он боится. Это хорошее сочетание.

* * *

Кравцова приняла его на следующий день в консультации на Ленина, и фикус за её спиной выпустил новый побег: бледный, невесомый, цвета молодой травы. На подоконнике стояла фотография в рамке, и впервые за три года она была повёрнута лицом к комнате.

— Суд назначен на восемнадцатое марта, — сказала Кравцова. — Верховный суд республики прислал определение: передать в краевой в ином составе. Судья Мельников отстранён. Новый, Лаврентьев, человек, говорят, спокойный.

— Хорошо.

— Не хорошо. — Она сняла очки и протёрла их платком. — Хорошо было бы, если бы у меня на руках лежало то, чего нет. Я составляю перечень. — Она подвинула лист. — Журнал Глухова, который в деле. Выписка из больницы за январь тридцать девятого. Показания Касьянова, погибшего. Показания Орловой, потерпевшей по делу, где Глухов в камере. Сведения Рудя, которых нет в деле, потому что он в Москве и тетрадь его там. Эллинг. Веронал. — Она подняла взгляд. — Этого достаточно, чтобы суд усомнился. Но не достаточно, чтобы он оправдал.

— Чего не хватает?

— Человека. — Кравцова положила ладони на стол. — Обычному судье нужен другой человек. Тот, на кого можно указать. Без него оправдательный приговор выглядит как милость, а у нас милость не в традиции. — Она подвинула лист обратно к себе; в консультации пахло чернилами и сырыми валенками посетителей. — Я знаю, о чём говорю. Мой отец учил: суд не разрешает вопрос «кто». Он разрешает вопрос «этот ли». Я попробую.

— Вам нужна Рыбникова?

— Рыбникова — пятнадцатая. — Она чуть заметно усмехнулась. — Я читала заключение Зильбермана. Для Глухова она работает, как все остальные: он в камере, она в льду. Но она ничего не добавляет. Нужно то, чего нет у обвинения.

— Что?

— Ваш «человек». — Она посмотрела на него поверх очков. — Вы его нашли?

Волченко не ответил сразу. На подоконнике, лицом к комнате, стоял человек в круглых очках и чёрной шапочке и смотрел так, как смотрят на тех, кто ещё не научился.

— Нет, — сказал он.

— Не лгите мне, капитан.

— Я не лгу.

— Тогда вы не сказали правду. — Она встала. — Я не прошу. Но если вы когда-нибудь решите сказать, я должна знать до того, как мне задаст вопрос судья. Иначе я не смогу его защитить и вас.

* * *

Мухин принёс чай в подвал в среду, двадцать девятого, в одиннадцатом часу вечера, и поставил стакан на край стола так осторожно, что не пролилось ни капли. Он стоял, не уходя: серый, постаревший, в расстёгнутом кителе, с красными веками, прижимая к груди ту самую «Книгу учёта отказных материалов», которую носил с сентября, как молитвенник.

— Михаил Андреевич, — сказал он наконец. — Вы просили не говорить, но я должен.

— Что?

— Я слышал. В коридоре. Как вы вчера с Цоем говорили про гараж.

Волченко отложил карандаш.

— Вы подслушивали?

— Не подслушивал. Я проходил. — Мухин опустил глаза. — Я понимаю, что не должен. Но я хочу помочь.

— Чем?

— Дежурный по гаражу Управления, Савин Лукьян Петрович, мой сосед по лестнице. Мы двадцать лет здороваемся. Он человек тихий, пьющий, вдовый, ведёт книгу выездов. Каждую поездку каждой машины. Время, маршрут, «по службе». Начальство не любит, когда книгу смотрят, но она лежит на столе, как лежит.

— Он покажет?

— Мне? — Мухин коротко, почти смущённо улыбнулся. — Мне покажет. Я ему налью. Он любит.

— Это нарушение.

— Это чай, — сказал Мухин. — Просто чай. Он будет сидеть, а я посмотрю. Если не понадобится, ничего не будет.

— Мухин.

— Понимаю. — Он поднял глаза. Они были красные, мокрые, но не просящие. — У меня отец был стрелочником на Хабаровск-второй. Я вам говорил. Говорил: «Твоё дело стрелка. Переведи вовремя». Я один раз не перевёл. Больше не хочу.

Он поставил книгу на стол, прижал сверху ладонью, как прижимают крышку.

— Мне нужно три дня, — сказал он. — Может быть, пять.

— Берегитесь.

— Вот уж кого мне не надо беречься, — сказал Мухин. — Я дежурный. Меня никто не видит.

* * *

Пятница, тридцать первое, принесла в Управление слухи. Начались они в столовой, где за обедом кто-то сказал, что в Москве готовят постановление, потом дошли до коридора, потом до дежурки, где Зина, остановившись у барьера с папкой в руках, шепнула Мухину: «Говорят, Управление делят». К вечеру об этом знал весь этаж.

— Не делят, — сказал Гусев, ходя по кабинету из угла в угол. — Разъединяют. Это разные вещи. НКВД остаётся: милиция, пожарные, лагеря. А ГБ выделяют в отдельный наркомат: контрразведка, борьба с диверсиями, вся эта публика. Так сказали.

— Кто?

— Ларионов. Ему позвонили из Москвы. Он сказал: «Через три дня». — Гусев остановился. — Понимаешь, что это значит?

— Что мы больше не подчиняемся им.

— Что нас не будут больше приглашать на беседы. — Он вытер лоб. — Я двадцать лет жил под тем, что есть «они». Теперь они станут «другими». Не знаю, лучше это или хуже.

— Лучше.

— Ты думаешь?

— Я думаю, что человек, который перестаёт быть начальством, становится обыкновенным человеком, а с обыкновенным человеком можно разговаривать.

Гусев посмотрел на него долго.

— Ты изменился, Миша, — сказал он наконец. — Я не знаю как. Но изменился.

* * *

К Беловым он зашёл вечером, в субботу первого февраля, с кульком пряников, которые продавали у входа в железнодорожное депо. Анна Николаевна открыла дверь, провела на

кухню, где в круге света от керосиновой лампы сидела над рубашкой Орлова и сшивала расползшийся шов мелкими, частыми стежками.

— Валя, — сказала Анна Николаевна. — К нам Михаил Андреевич.

— Я слышала.

Она не подняла головы. Игла шла сквозь ткань мелкими стежками, с лёгким шорохом. Волченко присел напротив и положил пряники на стол.

— Вам не надо ничего говорить, — сказал он. — Я зашёл на огонёк.

— Вижу. — Орлова наконец взглянула на него: светлые прямые волосы, круглое веснушчатое лицо, чуть припухшие веки. — Мне Елена Романовна рассказала про санитарку. Она ночная была?

— Да.

— Хорошая?

— Хорошая. Читала «Каштанку».

— Я её не знала. — Орлова воткнула иглу в рубашку и оставила. — Но я думаю, что мне хочется, чтобы она знала: мы её помним. Это глупо, она мёртвая. А всё-таки.

— Не глупо.

— Я много забываю. — Она провела пальцем по краю шва. — Но голос не забываю.

Анна Николаевна поставила на стол чайник и вышла в комнату, плотно прикрыв дверь.

— Мне иногда снится, — сказала Орлова очень спокойно, без дрожи, — что он стоит у кровати. Вот так, как тогда. Я не вижу лица. Только слышу. Он говорит: «Так легче». Я просыпаюсь. И потом долго лежу и жду, не сказал ли он что-нибудь ещё.

— Что вы ждёте?

— Что скажет своё имя. — Она слабо улыбнулась. — Это глупо. Но мне кажется, что у него должно быть имя, самое обыкновенное. Иван. Пётр. Я бы его узнала.

— Если мы найдём его, — сказал Волченко, — вам придётся сказать, что вы узнали.

— Я скажу.

— Это может быть опасно.

— Опаснее, чем было? — Она взяла иглу. — Я думала об этом, Михаил Андреевич. Я решила. Я не хочу, чтобы кто-то другой лежал, как я лежала. Если мне нужно сказать вслух, я скажу.

Он не нашёл, что ответить. Она вдела нитку в ушко и продолжила шить, быстро, без остановок, и в тишине кухни слышалось только лёгкое шуршание ткани и тиканье ходиков на стене.

* * *

Корнеев вызвал его на третье февраля, в понедельник, в три часа дня, и когда Волченко вошёл в кабинет двадцать один, комната показалась ему чужой. Дверь, обитая чёрным дерматином, была та же. Стол был тот же: сейф, календарь, портрет, графин под перевёрнутым стаканом. Но на подоконнике стояли картонные коробки, перевязанные бечёвкой, а у стены, на полу, лежали разобранные папки и несколько старых журналов, из тех, что собираются выбросить. На стене, там, где висел портрет наркома, остался светлый прямоугольник невыгоревших обоев: нового ещё не повесили.

Корнеев сидел за столом. Он поднялся, когда вошёл гость, и протянул руку, и Волченко пожал её, не задерживая.

— Садитесь, капитан, — сказал Корнеев. — Простите за беспорядок. Переезжаем.

— Куда?

— Никуда. Остаёмся на Пушкинской. Меняется вывеска. С сегодняшнего дня здесь Управление государственной безопасности, отдельное, подчинённое новому наркомату. Мили-

ция остаётся у наркома внутренних дел. Вы теперь на Ленина, под Ларионовым. — Он улыбнулся своей улыбкой. — Чаю?

— Спасибо.

Он налил из чайника в два стакана тёмную горячую жидкость и подвинул один гостю. Сам взял свой, левой рукой, отпил, поморщился.

— Без сахара. Врачи не отпускают. — Он поставил стакан. — Это наш последний доклад, Михаил Андреевич. По средам мы больше не увидимся. Если, конечно, вы сами не захотите.

— Понимаю.

— Докладывайте.

Волченко доложил. Коротко, по пунктам, как делал всегда: дело Рыбниковой, найденное тело, веронал, нет свидетелей, нет улик. Он говорил без пауз, и слышал свой голос как чужой: спокойный, чуть усталый, с лёгкой хрипотцой простуды. Говорил то, что не было неправдой и не было правдой, как говорят на допросах те, кто умеет.

Корнеев слушал, откинувшись на спинку кресла, с полуприкрытыми веками.

— Санитарка вела записи, — сказал он, когда Волченко умолк. — Мне говорили. Школьная тетрадь.

— Не нашли.

— Жаль.

— Обыск в комнате ничего не дал.

— Жаль, — повторил Корнеев. — Ночные санитарки замечают много. — Он взял стакан и повертел в пальцах. — Я иногда думаю, что самые полезные люди в больнице это те, кого никто не спрашивает.

Волченко смотрел на стакан и на тонкую струйку пара над ним, которая поднималась и таяла, не достигая потолка.

— Предложение остаётся, — сказал Корнеев. — Курсы в Москве. Группа набирается в апреле. Для вас место найдётся.

— Благодарю. Нет.

— Я знаю. — Он улыбнулся. — Я спрашиваю не потому, что надеюсь. Из вежливости. Я не люблю, когда человек отказывается один раз и больше не слышит предложения.

— Это не вежливость. Это расчёт.

Слова вышли сами. Он услышал их и понял, что не должен был произносить. Корнеев не изменил выражения лица. Только веки, на секунду, чуть заметно приподнялись.

— Расчёт, — повторил он. — Возможно. Я не вижу разницы.

— Я тоже.

— Вот и прекрасно. — Корнеев отставил стакан и сложил на столе ладони. — Мне казалось, что вы стали осторожнее, Михаил Андреевич. Вы больше не бросаетесь на слово. Раньше вы произносили «аналогичные случаи» в приёмной комиссии, а теперь взвешиваете каждое.

— Я устал.

— Все устали. — Он поднялся. — На этом, пожалуй, всё. Последний доклад принят. Вы свободны.

Волченко встал. Пошёл к двери, и на пороге, когда рука уже лежала на холодной латунной ручке, голос за спиной сказал негромко, почти мягко:

— Заходите, если захотите поговорить не по службе. Теперь это можно.

Он остановился. Не обернулся.

— Благодарю.

— Не за что.

Дверь закрылась за ним с сухим щелчком.

* * *

Белова ждала его на крыльце Управления, в тулупе поверх шинели, с поднятым воротником, притоптывая валенками по обледеневшему граниту. Начинало темнеть. Часовой у шлагбаума зажёг фонарь, и жёлтый кружок света лёг на снег, на чёрный капот стоявшего во дворе ЗИСа.

— Спрашивал про тетрадь? — сказала она, не здороваясь.

— Да.

— Откуда знает?

— От Каца. Кац позвонил начальнику, начальник позвонил ему, он спросил сам. — Волченко спустился на ступеньку. — Он не боится, что мы знаем про тетрадь. Он хочет знать, что мы её не нашли.

— Что вы ответили?

— Что не нашли.

— Значит, теперь он знает, что вы лжёте.

— Он знает, что я осторожен. Это разные вещи. — Он поправил шапку на голове. — Я врал ему впервые не из страха. Из расчёта. Сказал ему «расчёт» вслух.

— Вы сказали?

— Сказал. Само вышло.

Белова повернула голову. На её лице, при свете далёкого фонаря, не было насмешки, только тот особый, острый, сосредоточенный взгляд, каким она смотрела на бумаги.

— Это он запомнил, — сказала она.

— Знаю.

— Теперь он будет осторожнее вас.

— Он всегда осторожнее.

— Нет. — Она покачала головой. — Раньше он был уверен. Теперь будет осторожен. Это хуже.

Они стояли рядом на крыльце, не касаясь друг друга. Мимо проехала подвода с дровами, возница ссутулился под тулупом, лошадь фыркнула паром. Над крышами, над чёрной громадой Управления, стояла бледная зимняя луна.

— Я хотела сказать, — сказала Белова и осеклась.

— Что?

— Ничего. Потом. — Она сошла со ступеньки. — Мухин нас ждёт. Идёмте.

* * *

Вечером, в одиннадцатом часу, в подвале, при зажжённой лампе, Мухин положил на стол сложенный пополам листок и отошёл на шаг, будто боялся, что бумага обожжёт.

— Это что? — спросил Волченко.

— Выписка. Вчера Савин напился, как обещал. Он спал на лавке, а книга лежала на полке над столом, толстая, в чёрной клеёнке. Я переписывал при свече, пока он храпел, и всё время думал, что если он проснётся, то я скажу: «Чай пили». Не проснулся. Утром он ничего не вспомнит: у него после водки голова чистая, как стол. Я только одну выписал пока. Остальные завтра.

Волченко развернул. На странице из тетрадки в клетку, мелким почерком, было выведено: «Книга выездов гаража Управления. 22.12.1939. Машина ГАЗ-М1 № 41-07. Водитель Степанов Г. Ф. Выезд 17.40. Пассажир: по списку «А». Маршрут: по службе, Серышева. Возврат 00.15».

Он перечитал дважды. Потом положил листок на стол.

— Список «А», — сказал он.

— Это те, чьи фамилии в книге не пишут, — сказал Мухин. — Двенадцать человек во всём Управлении. Машина закреплена за одним: сорок один ноль семь, он единственный, кто ездит на ней с этим шофёром. У Савина в углу висит табличка «Закрепление».

— Чья машина?

— Я не буду говорить вслух. — Мухин перевёл дыхание. — Вы знаете.

Волченко не ответил.

— Серышева, — сказал он вместо этого.

— Да.

— Двадцать второго декабря. В пять сорок вечера.

— Да, — сказал Мухин. — Я сам потом посмотрел. Зимина вышла из дома в шесть. Из дома двадцать два.

Белова, сидевшая у стены, не пошевелилась. Цой, стоявший у двери, медленно опустил руку на загривок Тихона. Никто не произнёс слов, которых не следовало произносить.

Глава 4

Выписок оказалось четыре, и Белова разложила их на столе в подвале рядом с листком Рудя, как раскладывают пасьянс, который должен сойтись.

Было четвёртое февраля, вторник. Мухин принёс остальные три за ночь, завернув в газету вместе с двумя бутербродами, и теперь стоял у печки, греясь и не решаясь сесть. На стене, на двух кнопках, висел лист обёрточной бумаги, на котором Белова начертила таблицу: слева даты, посередине «катер», справа «машина», и в каждой клетке стояло только число.

— Читайте, — сказал Волченко.

— Двадцать второго декабря тридцать девятого. — Белова провела карандашом по строке. — Машина сорок один ноль семь, выезд семнадцать сорок, возврат ноль пятнадцать, Серышева. Катер Рудя на вечер двадцать первого, накануне. — Она двинулась вниз. — Пятнадцатое февраля сорокового. Машина: выезд семнадцать десять, пассажир по списку «А», маршрут «по службе, станция Хабаровск-1», возврат девятнадцать двадцать. Катер: двадцать рублей, пятнадцатое февраля, в тот же день.

— Лавренюк.

— Его нашли в девятнадцать. Машина стояла у вокзала с семнадцати десять. — Карандаш остановился. — Дальше. Восьмое августа сорокового. Выезд двадцать два десять, возврат пять ноль-ноль. Маршрут «по службе, Утёс». Орлова села на катер восьмого в девятом часу вечера. Но запись про машину не вечер, а ночь. Та самая ночь, когда в палате номер семь…

— В палату он вошёл в четыре пятьдесят, — сказал Волченко. — По тетради. Машина встала в гараже в пять.

— Десять минут от госпиталя до гаража.

Белова посмотрела на него. Она не улыбнулась и только записала на полях цифры: «4.50» и «5.00», одну под другой, чтобы разница бросалась в глаза.

— И последняя, — сказала она. — Двадцать восьмое октября. Выезд двадцать пятнадцать, маршрут «Карла Маркса — Серышева», возврат два сорок. Вера Андреевна вышла из салона в двадцать сорок, сторож видел её у афишной тумбы в начале десятого.

В подвале слышно стало, как щёлкает остывающее железо печки. Лампа горела, не потрескивая, и на столе четыре листка лежали рядком, как лежат на прилавке выписанные рецепты. Цой, сидевший на ящике у стены, сжал в кулаке спичечный коробок. Тихон положил морду на колени хозяина и закрыл глаза.

— Четыре, — сказал Мухин от печки. — Я с шестого года дежурю. Я никогда не видел, чтобы в книге выездов было столько одинаковых слов.

— Каких?

— «По службе». — Он потёр веки. — В книге их тысячи. Но обычно за ними стоит название. «По службе, Красная Речка, полигон». «По службе, склад». А тут «по службе, Серышева». «По службе, станция». Не хотел человек писать, куда ездил, а хотел, чтобы это было записано.

— Как будто он хотел, чтобы это нашли.

Белова повернула к Волченко голову. Это было первое слово, которое она сказала ему прямо, не по делу, за три месяца.

— Или чтобы не искали, — сказал Волченко. — Для того, кто привык к бумагам, запись «по службе» — это забор. Через забор не лезут.

— Через него лезет только тот, кому уже всё равно.

— Или кому нужно.

Она отвернулась и долго смотрела на таблицу.

— Это не доказательство, — сказала она наконец. — Это совпадение. Четыре совпадения. Ни одна бумага не называет имени.

— Список «А».

— Двенадцать человек. Кто из них ездит на сорок один ноль семь?

— Один, — сказал Мухин. — Но это тоже не бумага. Это табличка на стенке у Савина.

— Таблички снимают, — сказала Белова.

* * *

К Савину они пошли вдвоём с Мухиным в среду вечером, пятого, после отбоя, когда в гараже Управления гасили лампы над боксами и оставляли только одну, у ворот. Волченко не брал с собой никого: ни Цоя, ни Белову. Он шёл за Мухиным по гулкому, пахнущему бензином и сырой резиной помещению, мимо затянутых брезентом «эмок» и грузовиков с поднятыми капотами, и остановился у деревянной будки в углу, откуда пробивалась щель света.

Савин Лукьян Петрович сидел за столом в телогрейке, с красным, отёкшим лицом и редкими седыми волосами, прилипшими ко лбу, и в руках у него была толстая книга в чёрной клеёнке. На столе стояли бутылка без этикетки, две рюмки и тарелка с огурцами. Он не поднялся.

— Это кто? — спросил он у Мухина, не глядя на Волченко.

— Знакомый. Из угрозыска.

— Угрозыск. — Савин налил в рюмку. — У нас тут от угрозыска только мыши. — Он выпил, крякнул, закусил огурцом. — Садитесь, раз пришли. Только про книгу не спрашивайте. Книгу я не показываю.

— Я не за книгой, — сказал Волченко.

— А за чем?

— За вашей памятью.

Савин поднял глаза. Они были мутные, красные, но в глубине их, когда он взглянул на гостя, мелькнуло что-то быстрое и осторожное, как в глазах старого кота, который слышит шаги за дверью.

— Что вам моя память? — сказал он. — Она у меня водкой промыта.

— Машина сорок один ноль семь.

— А. — Савин не изменился в лице. — Это которая у Алексея Павловича.

Он произнёс это без нажима, как называют имя соседа по лестнице. Мухин за спиной Волченко перестал дышать.

— Шофёр у неё Степанов, — продолжал Савин. — Гришка. Хороший парень. Не пьёт. За машиной смотрит, как за ребёнком. Я его двадцать раз просил: «Гриша, выпей рюмку, не бойся». Он: «Нельзя, Лукьян Петрович, у меня ответственность».

— Что он делает после поездок?

— Моет. — Савин налил себе ещё. — Каждый раз. Даже если ездили в город, на чистой дороге, всё равно. Только после поездок по списку, ну, вы знаете, «А», особенно. Это у нас так называется. Тогда он стоит в боксе до утра. Ведро, тряпка, щётка. Мне в окно видно. Я не сплю.

— Что он убирает?

— Салон. Пол. — Савин задумался. — Да всякое. Грязь. Снег натаскают. А вот зимой, помню, несколько раз, я проходил мимо, а он метёт веником, и на полу зелёное. Иголки. Мелкие такие, мягкие. Пихтовые, по запаху. Я спросил: «Гриша, откуда зимой?» Он говорит: «Начальство ёлку для детей возит». Я ещё подумал: у начальства детей нет.

Волченко слушал, как капает вода из крана в углу будки. В будке было тесно, душно, пахло сивухой, махоркой и кислой капустой. Мухин стоял у двери и смотрел в пол.

— Когда это было? — спросил Волченко.

— Не помню. Я не считаю.

— Книга считает.

— Книга. — Савин усмехнулся. — Книга всё помнит, а я нет. Посмотрите, если хотите. — Он подвинул к нему чёрную клеёнчатую книгу и откинулся на спинку. — Только я вам её не показывал.

— Конечно.

Он открыл. Страницы были разграфлены чернилами, исписаны мелким, тесным почерком, с датами, цифрами, номерами машин. Он нашёл двадцать второе декабря, потом пятнадцатое февраля, восьмое августа, двадцать восьмое октября. Всё совпадало с выписками Мухина: и время, и маршрут, и «по списку «А»». Только на полях, мелкими карандашными значками, которых он раньше не видел, стояли кружочки: пустые, с точкой посередине.

— Что это? — спросил он.

— Это мои, — сказал Савин. — Не для начальства. Когда Гриша убирал иголки, я ставил точку. Чтобы помнить, какие поездки с иголками.

Волченко посчитал. Четыре точки. Двадцать второе декабря. Пятнадцатое февраля. Восьмое августа. Двадцать восьмое октября. На каждой.

— Вы мне этого не говорили, — сказал он, закрывая книгу.

— Я ничего не говорил, — согласился Савин. — Я пил с соседом.

* * *

Зина печатала в четверг, шестого, в обеденный перерыв, пока отдел ушёл в столовую. Она сидела за своим «Ундервудом» в застеклённой перегородке, в серой вязаной кофте, с носком, торчавшим из кармана, и пальцы её двигались по клавишам быстро, без единой остановки. Волченко стоял за её спиной.

— «Выписка из книги учёта выездов, — читала она вслух, не оборачиваясь, — машина ГАЗ-М1, номер сорок один ноль семь…» Михаил Андреевич, я не понимаю, что печатаю.

— И не надо.

— Это справка?

— Это копия. Для вас она не существует.

— Хорошо. — Зина щёлкнула кареткой. — Только я бы хотела сказать. Не потому, что… — Она замялась. — Я пять лет здесь печатаю. И никогда не спрашивала. Но вчера я заметила, что у меня дрожат руки, когда я беру ваши бумаги. Так вот. Они не дрожат у меня, когда я печатаю.

— Что это значит?

— Что я привыкла бояться, а печатать не боюсь. — Она наконец повернулась к нему. Круглое лицо её, обычно бесцветное, залилось краской. — Вы не думайте. Я просто не умею сказать. Мне кажется, что вы делаете то, что надо. А я только стучу.

— Это много.

— Это ничто. — Она вынула лист из каретки, сложила пополам, подала. — Но я хотела, чтобы вы знали.

* * *

Беловы жили во флигеле за Домом Красной Армии, в тихом переулке, и он проводил её до калитки в четверг вечером, шестого, после того, как Зина допечатала последний лист. Они шли по скрипучему снегу, мимо колонки с ледяной бородой, мимо спящих палисадников, мимо одинаковых заборов, за которыми тускло светились окна. Мороз отпустил градусов до пятнадцати, и в воздухе пахло близкой оттепелью: сыростью, дымом, прелой землёй.

У калитки Белова остановилась.

— Вы знаете, что вы сделали? — спросила она.

— Что?

— Вы поняли. На улице. В январе.

— Вы знаете?

— Мухин видел вас из дежурки. Вы стояли посреди Пушкинской, как столб, и смотрели на окна Управления. Он рассказал Зине, Зина мне. Я спросила что. Она сказала: «Не знаю. Просто стоял и смотрел на лампу».

— Вы поэтому с января разговариваете со мной короче?

— Я разговариваю короче с ноября. — Она сняла варежку, поправила шаль. — С января я разговариваю иначе.

— Как?

— Не знаю. — Она спрятала руки в рукава. — Как с человеком, который наконец стал на мою сторону. Хотя я не уверена, что хотела этого.

— Вы хотели, чтобы я не видел?

— Я хотела, чтобы мне не пришлось быть правой. Это разное. — Она посмотрела на него: прямо, без вызова, без просьбы. — Теперь, когда вы видите, я боюсь за вас больше, чем боялась раньше. Раньше вы были слепы, и это вас защищало. Теперь у вас открыты глаза.

— Вы думаете, он заметит?

— Он заметил в тот день, когда вы сказали «расчёт». Он ничего не сказал и не подал вида, как подают только те, кто никогда не торопится. — Она поправила шаль. — Вот чего я боюсь, Михаил Андреевич. Не того, что он сделает. Того, что он ничего не делает, а время идёт.

— Это хуже?

— Для вас. Для дела лучше.

Он не ответил. Над головой, в чёрном небе, без мерцания светила одна большая звезда.

— Спасибо, — сказал он.

— За что?

— За то, что говорили.

— Я не говорила. Я вас била. — Она неожиданно улыбнулась: коротко, чуть заметно. — Мать говорит, что в этом и есть разница между любовью и справедливостью.

— Что?

— Я не знаю. Она так сказала. — Белова надела варежку. — Идите, Михаил Андреевич. Завтра рано.

Калитка скрипнула и закрылась. Он остался стоять на морозе, глядя на полоску света в окне за занавеской, пока не погас огонёк.

* * *

Особый отдел съезжал из Управления в среду, двенадцатого. С утра по лестнице на Пушкинской носили ящики, и в коридоре второго этажа стоял запах разворошённого архива: пыль, сургуч, подгнившая бумага, прелая кожа. Красноармейцы с вещмешками переговаривались вполголоса. Скворцов, в новой гимнастёрке с петлицами, на которых блестели чужие, армейские знаки, стоял на лестничной площадке, подписывал накладные и ни на кого не смотрел.

Пронин поймал Волченко в сенях, у двери во двор, где никого не было, кроме дворника с метлой. Он был без фуражки, с красными от пыли глазами, и в руках у него не было ничего, кроме вязаной шапки.

— Мы уезжаем, — сказал он. — В штаб фронта. С сегодняшнего вечера нас нет.

— Знаю.

— Я хотел сказать. Не для рапорта. — Он прижал шапку к груди. — Телефоны Управления теперь слушает не мы. Слушает группа связи ГБ. Я слышал, как они между собой гово-

рили. Они не пишут сводок. Они докладывают голосом. Это хуже: голос не оставляет следа, но и не лежит в сейфе. Его нельзя вынуть, как бумагу.

— Кому докладывают?

— Тому, кто спросит. — Он опустил глаза. — Я не знаю кому. Я только знаю, что вас они слушают тоже. Каждое слово.

— Вы говорили это в августе.

— Тогда я говорил, что «с мая». Теперь «всегда». — Пронин криво улыбнулся. — Ещё одно. Шофёр у начальства. Степанов. Он у них самый тихий. У него дочь больна, чахотка костей, на лечении в Ялте. Он все деньги шлёт. Он единственный в гараже, кто не пьёт. Я его раз видел, во дворе: стоит у машины и смотрит в одну точку. Мне показалось, что ему нужно, чтобы кто-то спросил.

— Зачем вы мне это?

— Не знаю. — Он надел шапку. — Щенок растёт. Сын назвал Дружком. Он любит, когда я прихожу. Я хочу, чтобы они оба дожили.

— Доживут.

— Не обещайте. — Пронин протянул руку, и Волченко пожал её. Ладонь у лейтенанта была сухая, чуть дрожащая. — Удачи, капитан. И помните, что я не подписывал.

— Помню.

Он ушёл во двор, к грузовику, ссутулившись, и дворник, остановившийся с метлой, долго смотрел ему вслед.

* * *

Гусев вызвал его в тот же вечер. В кабинете было темно: лампа горела только на столе, и жёлтый круг освещал разложенные веером бумаги, две папки и стакан с остывшим чаем. Хозяин сидел в расстёгнутой рубахе, с красным лицом, и, когда Волченко вошёл, не поднялся.

— Закрой дверь, — сказал он.

Волченко закрыл.

— Я ничего не знаю, — сказал Гусев. — Понимаешь? Ничего. Я не знаю, чем ты занимаешься, не знаю, где ты бываешь по вечерам, не знаю, о чём ты разговариваешь с Мухиным. Я начальник угрозыска, у меня полтора года забот: прогулы, кражи, убийство красноармейца на Хабаровск-два. Но я хочу сказать одну вещь.

— Говорите.

— Рапорт об объединении у меня в ящике. С тридцать восьмого года. — Он выдвинул ящик и показал: между папками, под жестяной коробкой из-под леденцов, лежала толстая серая тетрадь. — Туда никто не заглядывает. Ключ у меня. Если понадобится, я его перепишу. Не перепишу. Достану.

— Не нужно.

— Знаю. Я хочу, чтобы ты знал, где он лежит. — Гусев задвинул ящик. — Если со мной что-нибудь случится, возьми. Не Лукин. Ты. Лукин далеко, а ты рядом.

— Фёдор Степанович.

— Я ничего не говорил. — Он взял стакан, отпил холодного чаю, поморщился. — Иди. И, Миша. Спасибо.

— За что?

— За то, что не спросил, почему я боялся. Это очень вежливо.

* * *

Цой рассказал о Степанове через два дня, в пятницу, четырнадцатого, у себя на Серышева, с Тихоном у ног и миской щей на коленях. Он ел медленно, глядя в миску, и ложка в его руке двигалась, как маятник.

— Я смотрел за ним неделю, — сказал он. — Не следил. Просто смотрел. Он живёт на Лазо, в доме рабочего посёлка, с женой и сыном. Дочь в Ялте. Каждый месяц отправляет перевод на сорок рублей. Ходит в одной и той же шинели. На работу в шесть, с работы в одиннадцать. По субботам в баню.

— В какую?

— На Серышева. Железнодорожная. Номер три.

Волченко медленно поставил кружку.

— ЖДБ номер три.

— Да.

— Где работала Мурашова.

— Да. — Цой наконец взглянул на него. — Я тоже заметил. Но он ходит туда с тридцать седьмого, ещё до неё. В мужской день, в субботу, в три часа. Мылся, пока жена в очереди за керосином. Один. Сидит в парилке дольше всех. Говорит с банщиком.

— Что говорит?

— Ничего. Слушает.

— Значит, там нет чужих ушей.

— В бане ни у кого нет, — сказал Цой. — Всё голое, всё мокрое, сбросил одежду, сбросил и привычку бояться. — Он улыбнулся одним углом рта. — Если вам надо поговорить с человеком по душам, лучше места не найти.

В комнате, где пахло псиной, стружкой и вчерашней капустой, тикали ходики на стене, и из-за окна доносился скрип полозьев по снегу: кто-то тянул санки.

— Субботу, — сказал он. — Первого марта. В три.

— Вы его видели близко? — спросил Волченко.

— Раз. Во дворе. Высокий, жилистый, рябой, на шее ожог старый, красный, до воротника. Курит «Север» и держит папиросу в горсти, по-шофёрски. Говорит на «о», с волжским выговором. — Цой поскрёб ложкой по дну миски. — Глаза у него как у человека, который давно что-то нёс и устал. Но не поставил.

— Не поставил почему?

— Некуда. Дочь в Ялте, жена в очереди, сын в школе, начальник в кабинете. Человек, который всё делает правильно, и никого не просит. — Цой сказал это негромко, без осуждения, как говорят о погоде. — Такие первыми и ломаются, когда их наконец спросят.

Он отодвинул миску. — Я передам Мухину. Он договорится с банщиком.

— Мухин не пойдёт.

— Он не пойдёт. Он будет сторожить у входа. — Цой доел щи, вытер ложку о хлеб и сунул в карман. — Он сказал: «Я не умею ничего, кроме как сидеть на месте и не спать».

Глава 5

В бане нет чужих ушей, потому что нет одежды, в которой их можно спрятать.

Волченко пришёл в железнодорожную баню номер три в субботу, первого марта, в начале третьего, одним из первых посетителей мужского дня. В предбаннике пахло мокрым деревом, берёзовым веником и ржавой водой. На лавках сидели голые, красные, исходящие паром люди, и банщик, угрюмый старик с гирькой вместо ключа на шее, выдавал шайки. Мухин остался у входа, на табурете, со свёрнутой газетой в руках, и никто не обратил внимания на тихого милицейского старшину, который вторую неделю читал одну и ту же статью.

Степанов был в парилке. Волченко узнал его по ожогу на шее: красному, старому, шедшему от затылка под плечо, как след от верёвки. Высокий, жилистый, рябой, он сидел на верхнем полке, закрыв глаза, и пар поднимался от него, как от нагретого камня. Волченко вошёл, сел на нижний, и жар ударил в лицо так, что на секунду потемнело в глазах.

— Григорий Фомич, — сказал он негромко.

Степанов не открыл глаз.

— Я знал, что кто-то придёт.

— Откуда?

— Не знаю. — Он наконец посмотрел вниз, и лицо его, в красных пятнах от жара, было спокойным, усталым, почти равнодушным. — Мне на днях сказали, что начальник угрозыска Гусев говорил в гараже: «Капитан Волченко интересуется». Я подумал: ну вот.

— Вы боитесь?

— Нет. — Он смахнул капли с бровей. — Да. Не знаю. Я привык не бояться. Это приятнее.

Они сидели рядом, каждый на своём полке, и из-за двери доносился глухой гул воды, стук шаек, плеск и чей-то визгливый смех. Здесь, в жаре и белом тумане, лица становились неразличимы, голоса превращались в шёпот, и слова, которые на улице нельзя было сказать вслух, звучали почти естественно.

— Я не буду вас спрашивать, куда вы возили начальника, — сказал Волченко. — Я спрошу про одно. Про пол.

— Про пол?

— Про иголки.

Степанов не шевельнулся. Только пальцы, лежавшие на коленях, медленно сжались и снова разжались.

— Савин, — сказал он. — Старый дурак.

— Он вас не выдавал. Он пил с соседом.

— Знаю. — Степанов вытер лицо рукавом полотенца. — Он добрый. Он мне говорит: «Гриша, выпей». Я говорю: «Нельзя». Он смеётся.

— Откуда иголки?

Долгая пауза. Где-то за стеной, в мыльной, с грохотом упала шайка.

— Я не знаю, — сказал Степанов. — Я не знаю, откуда они. Знаю только, что они в салоне после некоторых поездок. На заднем сиденье, на полу, под ковриком. Иногда ветка. Маленькая, обломанная. Я убираю.

— Каких поездок?

— По списку. «А». — Он говорил без интонации, как диктуют. — Вечерних. Не всех. Алексей Павлович садится на заднее сиденье, говорит адрес. Мы едем. Он выходит, чаще всего далеко от места. Говорит: «Ждите здесь». Я жду. Час, два, три. Он возвращается. Иногда пешком, иногда его подвозит кто-то. Я не видел.

— Кто?

— Не видел. — Степанов поднял глаза. — Я не смотрю. Я смотрю прямо. Так учили. Шофёр у ответственного человека не должен видеть.

— Но вы видели.

— Я видел пальто. — Он провёл ладонью по груди. — Тёмное, тяжёлое, с бархатным воротником. Оно возвращалось мокрое по подолу. Будто он шёл по снегу или по воде. Один раз, в декабре, подол был в чём-то чёрном. Глина. Я решил: это от Красной Речки, там глина.

— Двадцать второго декабря?

— Не помню число. — Он стряхнул пот с пальцев. — Помню: он поставил на заднее сиденье портфель. Обычно кладёт рядом. А тогда сунул под сиденье, глубоко, ногой. Он тяжёлый был. Что-то твёрдое. Я слышал, как звякнуло.

— Ножницы?

Степанов поднял голову.

— Почему вы так сказали?

— Не знаю. — Волченко стёр пот со лба. — Звякнуло как?

— Тонко. Как стекло о железо. — Он усмехнулся, не размыкая губ. — Вы умный. Я тоже подумал про ножницы. Потом выбросил из головы. Я вообще много выбрасываю из головы. Это тоже помогает.

— Куда вы его возили после девяти?

— Одно место. — Степанов вытер шею. — Красная Речка. За кладбищем. Там дача. Бывшая, купеческая, в лесу, километра два от дороги. Мы подъезжали к воротам. Он выходил, открывал калитку своим ключом, шёл внутрь. Я оставался у ворот. Там пахнет дымом. Не топят, но пахнет, как в печке, где что-то жгли. Я думал: бумаги.

— Сколько раз?

— Не считал. Раз десять. Может, больше. С прошлой осени.

— Только по вечерам?

— По ночам. Он говорил: «Я посплю там, у меня служебное помещение». Утром я его забирал. — Степанов смотрел в одну точку. — Первый раз я удивился. Но у них у всех дачи. Я не спрашивал.

Волченко сидел неподвижно. Жар давил на плечи, пот стекал по груди и по спине струйками, и сердце билось где-то в горле. Из-за двери донёсся глухой звук падающей воды, и он вдруг подумал, что за этой стеной сотни людей смывают с себя за час то, что копили неделю, и никому не приходит в голову, что среди них сидит человек, который знает.

— Григорий Фомич, — сказал он. — Вы пойдёте к прокурору?

— К какому?

— К Лукину. Николаю Саввичу. Он человек сухой. Но он запишет.

— Запишет и что?

— И то, что вы сказали, останется. Не в нашем доме. В его сейфе.

— А меня?

— Я не знаю.

— Честно. — Степанов впервые за разговор улыбнулся: криво, с трещинкой. — Я так и думал. Вы человек, который не обещает. Это хорошо.

Степанов долго смотрел на камни. Волченко ждал. В парилке становилось всё жарче, камни на печи шипели, когда банщик плескал на них из ковша, и воздух белел.

— У меня дочь в Ялте, — сказал наконец Степанов. — Ей лечиться надо. Если я уйду, никто не заплатит. Я не думаю, что вы поймёте.

— Пойму.

— Нет. — Он покачал головой. — Но я пойду. В понедельник. К вашему Лукину. Потому что мне иногда по ночам снится, что я в машине, у ворот, и слышу, как за калиткой что-то поют. Женским голосом. А я сижу и смотрю прямо.

* * *

Он вышел из бани в четвёртом часу, красный, вымытый, с мокрыми волосами, и на крыльце его ждал Мухин, который поднялся с табурета, не выпуская газеты, и сказал, понизив голос:

— Ну?

— В понедельник к Лукину.

— Я передам ему сегодня.

— Не надо. Скажем в понедельник утром. Пусть человек выспится.

Мухин кивнул. Они вышли на улицу. Было сухо, ясно, и над рекой тянул резкий мартовский ветер, пахнущий снегом и железом. Недалеко от бани, на углу, стояла «эмка», чёрная, с зачехлённым радиатором, и шофёр в шинели без петлиц сидел за рулём, не глядя по сторонам.

— Не он, — сказал Мухин. — Другой. Из нашего гаража.

— Знаю.

— Но он видел, что вы вышли из бани.

— Знаю.

— Это ничего не значит.

— Нет, — сказал Волченко. — Значит, что в гараже в воскресенье будут знать, что Степанов в субботу мылся в бане.

Он не договорил. Они пошли по улице, мимо афишных тумб, мимо замёрзшей лужи, на которой мальчишки катались по льду, и вдруг оба, не сговариваясь, остановились.

— Мухин, — сказал Волченко.

— Да.

— Цой сказал, что Степанов ходит сюда по субботам с тридцать седьмого.

— Все в гараже знают.

— Значит, и он.

Мухин побелел. Они стояли на углу, на ветру, и мимо них, не обращая внимания, шли люди с узлами и шайками: женщины в платках, старики в валенках, красные, распаренные дети.

* * *

Воскресенье второго марта было пасмурным и тёплым, с низкими облаками и капелью с крыш. Волченко проснулся в шесть, лёг снова, встал в восемь, умылся ледяной водой из рукомойника и долго стоял у окна. Во дворе дворник Фёдор колол дрова: дрова не кололись, откалывались, звонко, с хрустом, и по двору шёл запах свежей щепы.

В девять в дверь постучали. Тамара Ильинична, в халате, с тревожным лицом, сказала:

— Михаил Андреевич, вас внизу милиционер.

Это был Паршин, запыхавшийся, с красным лицом, в расстёгнутом тулупе.

— Беда, — сказал он, не здороваясь. — Шофёр. Гараж. Сорок один ноль семь.

— Что?

— На переезде. На Серышева, у товарной. Ночью. Эмка стояла на путях, и по ней прошёл маневровый. Шофёр внутри. — Паршин перевёл дыхание. — Мёртвый.

Волченко не сразу понял, что слышит. Он стоял посреди двора в расстёгнутом пальто, с непокрытой головой, и смотрел на Паршина, не видя его: перед глазами у него стояла только парилка, белый пар и рябое лицо с ожогом на шее.

— Когда? — спросил он.

— В час ночи. Или в два. Нашли в пять, обходчик.

— Кто на месте?

— Лукин. Гусев. Зильберман. Я за вами.

Они пошли быстро, не разговаривая. По дороге, на углу Серышева, встретился Цой, бежавший навстречу с Тихоном на поводке, бледный, с мокрым лицом.

— Это он, — сказал Цой. — Я успел увидеть. Он на руле, голова назад. Рука на гудке.

* * *

Переезд на Серышева был небольшой, с одной колеёй, с шлагбаумом и будкой стрелочника, перед которой на мокром снегу тускло блестели рельсы. Эмка лежала на боку, у самой насыпи, с продавленной крышей и разбитыми стёклами, и вокруг неё, на утоптанном гравии, толпились люди: железнодорожники в чёрных шинелях, красноармейцы, двое в штатском. Зильберман, согнувшись, стоял у открытой дверцы и осматривал тело.

Степанов сидел за рулём, откинувшись назад. Голова его была запрокинута, лицо серое, спокойное, с закрытыми глазами. Рука действительно лежала на гудке, и пальцы, жилистые, красные, были сжаты так, как сжимают поручень на ходу. На шее, поверх старого ожога, темнела свежая борозда.

— Борозда, — сказал Зильберман, не оборачиваясь. — Не от удара. От верёвки или тонкого ремня. Прижизненная.

— Задушили?

— Не уверен. Могу сказать после вскрытия. — Он выпрямился. — Но машина пошла на пути уже без управления. Он ехал по инерции. Или его ехали.

Лукин стоял в стороне, в чёрном пальто и шапке, с застёгнутым до подбородка воротником. Он смотрел на разбитую машину сухо, без выражения, как смотрят на документ.

— Обходчик говорит, — сказал он, подойдя, — шлагбаум был опущен. Красный фонарь горел. Эмка шла медленно, остановилась на путях. Водитель, видимо, заглох. Он вышел из будки закричать, но тут показался состав. Он не успел.

— Кто был в машине?

— Один человек. Больше никого.

— Куда он ехал?

— Не знаю. Никто не знает. В книге выездов гаража о ночном выезде записи нет.

— Нет записи.

— Нет. Савин клянётся, что вчера вечером машина стояла в боксе. Ключи у Степанова. Он ночью взял её сам. — Лукин стянул перчатку. — Гусев спрашивал: «Зачем?» Я не знаю.

Волченко смотрел на мёртвого. Лицо Степанова было спокойным, почти умиротворённым: выбор был сделан. На руле, рядом с рукой, лежал клочок бумаги, придавленный, смятый. Он наклонился, осторожно взял за уголок, развернул.

Клеёнчатая обложка, оторванная от школьной тетради. На ней, карандашом, детским, округлым почерком, было написано: «Папа, мы выздоравливаем. Врач сказал, к лету приедем. Целую. Таня».

Он не мог оторвать от неё глаз. Позади кто-то негромко сказал:

— Дочь. Из Ялты.

— Сколько ей?

— Одиннадцать.

— Он возил это с собой?

— В кармане. На груди. — Зильберман, стоявший рядом, закрыл футляр. — Не нашли ни денег, ни документов. Только это.

Волченко сложил клочок и сунул в карман.

* * *

Лукин принял его вечером, в той самой комнате, где красили в двадцать седьмом. Окна были закрыты, лампа горела на столе, а на сукне перед хозяином лежало постановление о возбуждении дела, уже подписанное, с чёрной полоской свежих чернил под фамилией. «№ 1642. По факту смерти Степанова Г. Ф.»

— Возбудил, — сказал Лукин. — Но вы понимаете, что это пустая бумага.

— Понимаю.

— Без свидетеля. Он должен был прийти ко мне завтра в девять. Вы говорили. — Он снял очки и долго тёр переносицу. — Я думал о нём всю ночь. Не о деле. О том, что я не встретил его раньше. Он был в гараже, в двух шагах, и никто его не спросил.

— Мы спросили.

— Поздно. — Лукин надел очки. — Я написал в Москву. Сегодня днём. Прокурору СССР. С просьбой дать санкцию на осмотр подвалов Управления на Пушкинской, а также на запрос в военную прокуратуру фронта по госпиталю. Ответа ждать месяц. Может, больше.

— Вы написали, откуда у вас основания?

— Написал: «в связи с серией убийств, в которых прослеживается связь с объектами, не подлежащими надзору». Не называл фамилий. — Он взял со стола папку. — Это единственное, что я могу. Написать так, чтобы они поняли, но не могли возразить. Бумага, которая ждёт.

— Опять.

— Опять. — Лукин сжал губы. — Знаете, Михаил Андреевич, у меня теперь целый шкаф бумаг, которые ждут. Рапорт об объединении. Заявление Зильбермана. Теперь это. Я иногда думаю, что я не прокурор, а архивариус чужого горя.

— Вы единственный, кто хранит.

— Сохранять не значит делать. — Он положил папку обратно. — Но если когда-нибудь кто-нибудь придёт, они будут лежать.

Волченко встал. У двери он обернулся.

— Николай Саввич.

— Да.

— Если он узнает, что вы написали в Москву…

— Он не узнает. — Лукин взглянул на него поверх очков. — Письма идут через фельдъегеря, по закрытой линии. Это единственное, чему я теперь доверяю.

* * *

Степанова хоронили в среду, пятого, на городском кладбище на Красной Речке, на дальнем краю, где кончались кресты и начинались ряды безымянных столбиков с жестяными номерами. Земля уже подтаивала: у ямы, под соломенной подстилкой, чернела сырая глина, и по краям её, на холмиках, лежали последние пласты рыхлого снега.

Пришло человек двадцать. Шофёры из гаража, в расстёгнутых шинелях, угрюмые, как у всякого общего горя. Савин, трезвый, красный, с трясущимися руками, державший шапку в обеих ладонях. Мухин, который накануне обошёл весь угрозыск с картонной коробкой из-под ботинок и собрал триста сорок рублей. Жена: высокая, жёсткая, с серым лицом женщина лет тридцати двух, в чёрном платке, стоявшая у края ямы прямо, без слёз. Рядом с ней мальчик лет девяти, в отцовской ушанке не по размеру, крепко сжимавший в кулаке материнский подол.

Белова встала рядом с женой и сказала негромко:

— Простите, что приходим.

— Вы из милиции. — Та не повернула головы. — Вижу. Он в воскресенье собирался к прокурору. Сказал мне в субботу, когда пришёл из бани: «Прасковья, я завтра всё скажу».

— Что?

— Не знаю. Я не спрашивала. — Она оправила платок. — Я думала: про Таню. Что просить будет, чтобы домой вернули. Я не знала.

— Он не просил, — сказал Волченко. — Он хотел рассказать то, что видел.

— Что он видел?

— Многое.

— Он не говорил. — Она наконец повернулась. Глаза её, сухие, светлые, смотрели на него без упрёка и без надежды. — Он никогда не говорил. Двенадцать лет жили, ни слова про работу. А в субботу, в воскресенье… Я ночью слышала. Сидел на кухне, курил, думал. Говорил: «Мне кажется, я наконец успокоюсь». А вечером сказал, что вызывают на машине, срочное. В половине двенадцатого ушёл.

— Он вас не предупредил, куда?

— «По службе». — Она сжала подол мальчика. — Так всегда.

Волченко достал из внутреннего кармана конверт, который Мухин накануне вложил ему в руку, и подал ей.

— Это от отдела. На Ялту. На Таню.

Она не взяла.

— Это что?

— Деньги. Триста сорок. Мы собрали. Каждый по рублю, по два, по пять.

— Не надо.

— Он отправлял сорок в месяц. Это почти девять месяцев.

— Я не возьму. — Голос у неё впервые дрогнул. — Если я возьму, он зря…

— Он не зря. — Белова мягко коснулась её руки. — Это не плата. Это то, что мы можем.

Прасковья Игнатьевна смотрела на конверт долго. Мальчик в большой шапке поднял на неё глаза и ничего не сказал. Потом она взяла конверт двумя пальцами, как берут горячее, и спрятала на груди.

— Передайте им, — сказала она, — что я возьму. Но не потому, что нужны деньги.

— А почему?

— Потому что он хотел, чтобы кто-нибудь сказал. А вы пришли.

Глину бросали по очереди. Мальчик бросил самым последним, неловко, обеими руками, и ком ударился о крышку гроба глухо, как удар в дверь. Он не заплакал. Только поднял воротник отцовской шинели, которую ему, видимо, надели вместо пальто, и всё смотрел на яму, не мигая.

* * *

Белова позвала его в подвал в тот же вечер, к одиннадцати. Она сидела за столом, где в январе раскладывала выписки, и перед ней лежал лист обёрточной бумаги, на котором карандашом был начерчен кружок и в нём семь имён.

— Кто знал, что он в субботу в бане, — сказала она. — Мы с вами. Цой. Мухин. Савин. Банщик. И шофёр, который стоял с «эмкой» на углу.

— И сам Степанов.

— И сам Степанов. — Она подчеркнула. — Он мог сказать жене. Он сказал: «Я завтра всё скажу».

— Он мог сказать кому-то ещё.

— Не нам, не вам, и не мне. — Она положила карандаш. — Я не говорю, что кто-то из нас. Просто кто-то слышал. Или видел. Или Степанов, по доброте, пошёл попросить разрешения.

— Разрешения?

— У него. — Белова взглянула на Волченко поверх стола. — Человек, который тридцать лет делает всё правильно, может решить, что должен сказать начальнику. Чтобы не получилось за спиной.

Волченко ничего не ответил. На стене, на карте, красными булавками было отмечено шестнадцать мест: от Хехцира до Вяземской, от Утёса до Красной Речки. Шестнадцатой булавкой стояла железнодорожная баня номер три.

— Мы потеряли шофёра, — сказал он.

— Мы потеряли шофёра, — повторила она. — Но он успел сказать. Я записала.

— Что?

— Что Алексей Павлович выходил за версту до места. Что на даче пахнет дымом, а печь не топят. Что кто-то поёт за калиткой женским голосом. — Она потёрла глаза. — Мне кажется, он не пел, Михаил Андреевич.

— Что?

— Патефон. — Она закрыла глаза. — Люди любят оставлять патефон. Особенно те, кто не хочет, чтобы в доме было тихо.

Глава 6

— Закрытое заседание, — сказала Кравцова. — Только на время показаний Орловой.

— На каком основании? — спросил Волченко.

— На основании характера дела. — Она положила на стол ходатайство, исписанное мелким, чётким, без единой помарки почерком. — Преступления против личности с элементами, нарушающими нравственное чувство. Судья Лаврентьев такие просьбы удовлетворяет. Он человек осторожный и не любит, когда его обвиняют в том, что он выставил свидетельницу перед залом. К тому же он двадцать лет проработал агрономом и привык не торопить то, что должно созреть.

Было шестое марта, четверг, одиннадцать утра. В консультации на Ленина, где фикус за спиной хозяйки вытянул уже восемь бледных листьев, стоял запах нагретой пыли и чернил: топили жарко, как топят в последние дни зимы. Рядом с Кравцовой, в продавленном кресле, сидела Орлова в сером платке и держала в ладонях чашку с чаем, из которой не пила. Белова, у окна, стояла со скрещёнными руками.

— В закрытом заседании остаются только те, у кого есть право, — продолжала Кравцова. — Суд, обвинитель, защитник, подсудимый, свидетель. И те, кто сидит в зале по служебной необходимости. Милиция. Прокуратура. — Она поправила очки. — И органы безопасности, если у них есть интерес.

— У них есть интерес, — сказала Белова.

— Понимаю.

— Он придёт.

— Знаю. — Кравцова не шевельнулась. — Он придёт, и войдёт, и сядет у двери, и мы ничего не сможем сделать. Это его право. Но у нас есть выбор. Мы можем не вызывать Орлову, и тогда Глухова осудят, потому что ей нечего противопоставить. Либо вызвать и принять, что человек услышит её голос.

Орлова подняла голову.

— Он услышит, — сказала она спокойно. — Я не боюсь.

— Это не вопрос бесстрашия. Это вопрос безопасности.

— Понимаю, Вера Сергеевна. — Орлова поставила чашку. — Но если я не скажу, Глухов сядет. Он не виноват. Он человек, который не злится. Я такого не встречала.

Волченко стоял у двери и смотрел на неё. Лицо у неё было круглое, светлое, с веснушками, похудевшее за зиму, а глаза серьёзные, взрослые, как у людей, которым нечего терять, кроме одного.

— Если вы скажете, — сказал он, — вам придётся идти до конца.

— Да.

— До самого.

— Я знаю, Михаил Андреевич. — Она улыбнулась слабо, и в этой улыбке была какая-то странная, спокойная радость. — Я слышала, как вы сказали Анне Николаевне: «Невидимый не значит отсутствующий». Я хочу, чтобы меня тоже видели.

* * *

Суд начался в десять утра восемнадцатого марта, во вторник, в Малом зале краевого суда на Ленина, и когда Волченко вошёл, зал был уже полон. Пришли те, кто приходил на каждый суд над «женскими убийствами»: старухи в чёрных платках, две женщины с детьми на руках, ветераны Гражданской войны, пенсионеры, несколько студентов с юридических курсов.

В первом ряду сидел Гусев, красный, торжественный, в новом кителе, с кулаками на коленях. Рядом с ним Лукин, сухой, прямой, в чёрном пальто, не снимавший шапки. Мухин, Зина, Цой с Тихоном, которого оставили у входа, привязав к перилам: пёс не лаял, но не спускал глаз с двери.

Окна были затянуты влажным стеклом. На подоконниках, в проталинах, стояли горшки с геранью: кто-то из уборщиц принёс. Зал пах сырыми валенками, махоркой и воском, которым натирают паркет. Над судейским столом, в узкой раме, висел портрет, а ниже на выцветшей ленте значилось: «Правосудие в СССР творится именем народа».

Судья Лаврентьев вошёл в десять, в сопровождении двух заседателей: невысокий, плотный, лет пятидесяти, с бритой головой и тяжёлым, внимательным лицом бывшего агронома. Он сел, поправил очки, раскрыл дело, и в зале стало так тихо, что слышно было, как на улице капает с крыши.

Ввели подсудимого. Глухов шёл между конвойными, в чужом ватнике, с обритой головой, и руки его, длинные, узкие, висели вдоль тела спокойно, без дрожи. Он остановился у барьера, окинул взглядом зал: быстро, ясно, без тревоги, и, найдя в первом ряду Волченко, едва заметно кивнул.

Новый обвинитель, Ширяев Аркадий Павлович, молодой, тонкий, нервный, с мокрыми от волнения ладонями, зачитал обвинительное заключение, уткнувшись в бумагу. Он говорил быстро, торопясь избавиться от неё. Статья сто тридцать шесть, часть первая. Убийство гражданки Лыковой, восьмого августа тысяча девятьсот тридцать девятого года. Нож «Ижевск». Лоскут синего ситца. Признание. Приговор, отменённый Верховным судом республики за недостаточностью оснований.

Кравцова встала.

Она была в тёмном платье и жакете, с волосами, собранными в тугой узел, с кожаной папкой в левой руке, и когда заговорила, голос её, сухой, ясный, расслышали в последнем ряду.

— Граждане судьи, — сказала она. — Я не буду говорить о милосердии. Милосердие не входит в мою профессию. Я буду говорить о фактах. Их у меня четыре. Первый: подсудимый в ночь убийства находился на посту и записал в журнале то, что слышал. Второй: нож, найденный при обыске, не принадлежит ему и был обнаружен за пятнадцать минут сержантом Особого отдела, который шёл прямо к половице. Третий: в августе тысяча девятьсот сорокового года, когда подсудимый сидел в камере, было совершено убийство, идентичное этому, по методике, по подпису, по деталям, которые не публиковались. Четвёртый: потерпевшая этого убийства жива и готова показать.

В зале шевельнулись. Лаврентьев поднял голову.

— Защитник просит закрытого заседания на время показаний потерпевшей, — произнёс он. — Обвинение возражает?

Ширяев поднялся, неловко, задев локтем папку.

— Не возражаю, товарищ судья.

— Суд удовлетворяет. Залу освободить помещение, за исключением лиц, указанных в статье… — Он зачитал номер. — Остальным покинуть.

Люди поднимались со скрипом, задевая скамьи, переговариваясь вполголоса. Старухи крестились. Двое студентов задержались в проходе, оглядываясь. Через пять минут в зале осталось человек пятнадцать: милиция, прокуратура, судебные работники. И в последнем ряду, у самой двери, в форме капитана госбезопасности, с чёрным кожаным портфелем на коленях, сидел тот, чьё присутствие Волченко почувствовал раньше, чем увидел.

Он не обернулся. Он смотрел вперёд, на судейский стол, и спина его была прямая, как стена.

* * *

Орлова вошла в зал в одиннадцать, в сером платке, с приподнятым подбородком, и когда пересекала зал, шаги её, лёгкие, неторопливые, раздавались так отчётливо, что каждый удар каблука отдавался эхом. Она остановилась у барьера. Подняла руку для присяги. Голос у неё был ясный, негромкий, с лёгкой хрипотцой:

— Орлова Валентина Тихоновна. Двадцать три года. Нянечка детского сада.

— Расскажите суду, что с вами произошло восьмого августа, — сказал Лаврентьев.

Она рассказала. Спокойно, без пауз, как рассказывают то, что выучили наизусть и прожили наяву. Про июль, про человека из жилотдела, который стоял спиной к окну. Про руки: чистые, белые, как у врача. Про катер у пристани, про пальто, накинутое на плечи. Про эллинг: бревенчатый, холодный, с земляным полом. Про лампу и самовар. Про чай: сладкий, очень сладкий, с горечью на дне.

В зале никто не шевелился. Лукин, сидевший в первом ряду, сжал руки на коленях так, что побелели пальцы.

— Что было потом? — спросил Лаврентьев.

— Он погасил лампу. — Она сглотнула. — Подошёл. Положил руку мне на плечо. Тёплую. И сказал: «Так легче».

— Вы запомнили слова?

— Да.

— Вы можете повторить, как он их сказал?

— Могу. — Она подняла подбородок. — Тихо. Ласково. С лёгкой остановкой перед последним словом.

— Покажите.

Она вдохнула. И сказала, негромко, почти шёпотом, в тишину зала:

— Так… легче.

Волченко не смотрел на неё. Он смотрел на последний ряд. Человек в форме капитана госбезопасности сидел неподвижно, с полуопущенными веками, и лицо его, гладкое, спокойное, чуть утомлённое, не изменилось. Только пальцы, лежавшие на портфеле, на секунду, чуть заметно, сжались и разжались.

— Благодарю, — сказал Лаврентьев. — Садитесь.

Она отошла к скамье свидетелей и села, выпрямившись, глядя перед собой. Кравцова на мгновение прикрыла глаза.

После перерыва, когда Орлову увели в коридор, к скамье позвали Зильбермана. Старый врач вошёл, держа шляпу обеими руками, и долго, с достоинством, искал, куда её положить. Лаврентьев указал карандашом на край стола.

— Вы давали заключение по пузырьку, найденному на месте второго эпизода? — спросила Кравцова.

— Давал. Веронал, растворённый в сладком. Доза такая, что взрослый человек перестаёт сопротивляться, но слышит и помнит. — Он поправил пенсне. — Достать такое можно в аптеке по рецепту врача. Или в санитарной части, где счёт ведут небрежно.

— Мог ли подсудимый, сидевший в то время в камере, подмешать его?

— Подсудимый в это время сидел в камере, — сухо сказал Зильберман. — Я не умею отвечать на вопросы, ответ на которые содержится в самом вопросе.

В зале кто-то усмехнулся. Лаврентьев постучал карандашом по столу, но без строгости.

Потом Цой положил на стол журнал сторожа: тетрадь в клеёнчатой обложке, с кривыми, старательными строчками. «Двадцать два часа. Слышал, как у соседей поют. Двадцать три часа сорок минут. Лает собака». Ширяев листал страницы и всё больше бледнел.

— Это его почерк? — спросил он хрипло, перелистывая страницу назад.

— Его. Экспертиза в деле, — сказал Цой. — Только обратите внимание на дату, товарищ обвинитель. Её нельзя поставить задним числом: тетрадь прошита и опечатана сторожевой артелью ещё в сентябре тридцать девятого.

Ширяев закрыл журнал. Руки у него дрожали.

Лукин, как представитель надзора, говорил последним. Он поднялся с места, не снимая шапки, и сказал всего три фразы:

— Прокуратура края не располагает данными, подтверждающими обвинение. Прошу суд учесть, что прежнее следствие велось с нарушениями. Ответственность за эти нарушения лежит на нас, а не на подсудимом.

Он сел. Гусев, сидевший рядом, посмотрел на него с изумлением: каменная стена заговорила человеческим голосом.

В перерыве Волченко вышел в коридор и встал у окна. Внизу, во дворе суда, дворник скалывал лёд с водостока, и глыбы с грохотом падали на мокрый булыжник. Рядом остановился Лукин, достал папиросу, но не закурил.

— Я двенадцать лет подписывал то, что мне приносили, — сказал он негромко, глядя во двор. — Сегодня впервые сказал вслух, чья это вина. Легче не стало.

— Станет.

— Нет. — Лукин покачал головой. — Но ходить с этим прямо проще, чем согнувшись. Передайте Беловой, что надзор по её делам я оставляю за собой.

* * *

Приговор огласили в четверг, двадцатого, в четвёртом часу, и зал снова был полон: люди пришли с утра, толпились в коридорах, стояли у стен. Мартовское солнце, мутное, тёплое, било в окна, и на полу, на крашеных досках, лежали яркие квадраты света.

Лаврентьев вышел, раскрыл дело. Заседатели сели по бокам, скрипнув стульями, и в лучах солнца закружилась пыль. Глухов, стоявший у барьера, выпрямился.

— Суд рассмотрел дело по обвинению гражданина Глухова Степана Тимофеевича в убийстве гражданки Лыковой Н. С., — сказал судья. Голос у него был густой, глуховатый. — Обвинение просило… — Он перевернул лист. — Государственный обвинитель в ходе судебного заседания заявил об отказе от обвинения за недостаточностью доказательств.

В зале кто-то коротко выдохнул.

— Суд, проверив материалы, считает, что вина подсудимого в предъявленном ему обвинении не доказана. В показаниях, данных на предварительном следствии, имеются существенные противоречия. Нож, приобщённый к делу, не принадлежал подсудимому. Журнал сторожа, приобщённый к материалам, подтверждает его присутствие на посту в ночь, указанную в обвинении. Показания потерпевшей по иному эпизоду, в котором подсудимый заведомо не мог участвовать, свидетельствуют о причастности иного лица. — Он отпил воды из стакана. — Руководствуясь соответствующими статьями Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, суд определил: Глухова Степана Тимофеевича от обвинения оправдать за недоказанностью. Из-под стражи освободить немедленно.

Тишина, длившаяся секунду, лопнула, как стекло. Кто-то в зале закричал; кто-то застучал каблуками; женщина с ребёнком заплакала. Гусев вскочил, красный, мокрый, с блестящими глазами, и стал трясти Мухина за плечо. Зина прижимала ладони ко рту.

Глухов не двинулся. Он стоял у барьера, обритый, тощий, в чужом ватнике, и смотрел на судью. Лицо его, бледное, спокойное, не изменилось. Потом он медленно повернул голову, нашёл в зале Волченко, и на губах его появилась улыбка, слабая, застенчивая, совсем детская.

— Спасибо, — сказал он, не повышая голоса.

Конвойные отступили. Один из них, молодой, красноносый, неловко, по-мальчишески, похлопал его по плечу.

Волченко встал и пошёл вперёд, и на ходу, мельком, оглянулся. Последний ряд, у двери, был пуст. Капитан государственной безопасности ушёл ещё до оглашения. На сиденье, где он сидел, ничего не осталось: ни портфеля, ни шапки, ни следа. Только дверь, чуть приоткрытая, и в щели белая полоска света.

* * *

Тихон ждал на крыльце. Он стоял, привязанный к перилам, и когда двери распахнулись и на ступени вышел человек в чужом ватнике, пёс не залаял и не бросился. Он замер. Потом медленно, боясь ошибиться, шагнул вперёд, и верёвка натянулась.

Глухов остановился на верхней ступеньке. Долго смотрел на собаку: большую, рыжую, с серьёзными светлыми глазами.

— Тихон, — сказал он негромко.

Пёс взвизгнул, коротко, по-щенячьи, и рванулся так, что перила скрипнули. Цой, державший конец, отпустил, и огромное рыжее тело ударило человека в грудь. Глухов упал на колени, прямо на мокрый, подтаявший снег, обхватил руками мохнатую шею, и из горла у него вырвался звук, которого Волченко не слышал ни разу в жизни: не плач и не смех, а что-то среднее, хриплое, долго сдерживаемое.

— Живой, — говорил Глухов, зарываясь лицом в шерсть. — Живой. Я думал, ты забудешь.

Пёс скулил, лизал ему лицо, толкал носом в грудь, и Цой, стоявший в стороне, повернулся и стал смотреть на улицу, поспешно вытирая глаза рукавом.

Кравцова вышла последней. Она остановилась на ступеньках, с папкой в руке, в тёмном жакете, и лицо её, обычно сухое, замкнутое, было залито слезами. Она не вытирала их.

— Это первый раз за пять лет, — сказала она Волченко негромко. — Я думала, что не доживу. Что мне только писать письма.

— Вы дожили.

— Нет. — Она покачала головой. — Я просто наконец увидела. Это разные вещи.

* * *

Он нашёл Белову вечером у реки. Она стояла на набережной, у чугунной ограды, в шинели и платке, глядя на лёд. Амур в этот час был сизым, с тёмными подтаявшими закраинами у берега, и по льду стояла вода, как стоит она над чужой глубиной.

Он встал рядом. Они смотрели на воду.

— Она сказала это при нём, — произнесла Белова.

— Да.

— Вы заметили?

— Пальцы.

— Я тоже. — Она взялась рукой за ограду. — Сжал и разжал. Один раз. Как человек, который услышал голос из прошлого.

— Это ничего не значит.

— Нет. — Она слабо улыбнулась. — Вы совершенно правы. Это ничего не значит. Это то, что я хотела сказать про «правоту». Мне не нужно быть правой. Мне нужно, чтобы он больше не слышал, как Орлова говорит «Так легче».

— Он услышал.

— Знаю. — Белова повернулась к нему. — Теперь у нас есть вопрос, который мы не задавали. Что он будет делать с этим знанием?

— Не знаю.

— Я тоже. — Она посмотрела на лёд. — Но знаю: он не любит оставлять свидетельниц. Он любит, чтобы они были невидимые.

— Орлова не невидимая.

— Нет. — Она взяла его за рукав: коротко, без нажима. — Поэтому я боюсь.

Он не ответил. Над рекой, над сизым, набухшим водой льдом, поднимался закат: розовый, водянистый, бессильный, и на его фоне чёрными линиями проступали мачты, краны, тонкие проволочные струны антенн. Белова не отпускала рукав.

— Михаил Андреевич, — сказала она. — Когда всё это закончится, вы мне скажете?

— Что?

— Всё.

— Что значит «всё»?

— Не знаю. — Она наконец отпустила рукав. — Что-нибудь. Правду. Какую хотите.

Он долго смотрел на воду. Лёд внизу глухо, один раз, треснул.

— Когда закончится, — сказал он.

— Хорошо.

Глава 7

Орлову Белова перевела на следующий день после приговора.

Не потому, что было что-то определённое. Просто в ночь на двадцать первое она проснулась в три часа и долго лежала, слушая, как за стеной дышит мать, и в голове у неё, чётко, как цифры в столбик, складывалось одно и то же: он слышал. Он сидел в последнем ряду и слышал, как девушка, которая жила у них в проходной комнате и читала матери «Дубровского», говорит его слова его голосом. Утром она сказала: «Агафья Матвеевна просила пожить, у неё колени». Орлова посмотрела на неё и не стала спрашивать, только сложила в узелок платки, иголки, «Дубровского» с закладкой на сорок второй странице.

— Я вернусь, когда можно, — сказала она у калитки.

— Когда можно, — согласилась Белова.

Мать ходила по опустевшей комнате и всё время что-то искала: очки, которые были на носу, ножницы, которые лежали на столе. Анна Николаевна не умела тревожиться вслух и тревожилась руками.

Следующие пять дней были обыкновенными, и это было хуже всего. Отдел жил на Ленина, под Ларионовым, в новом, пахнущем краской кабинете. Гусев ходил как именинник и всем рассказывал про суд, хотя на суде не проронил ни слова. Волченко в среду уехал в Благовещенск вместе с Лукиным, по надзорному делу, до субботы; перед отъездом он сказал ей в коридоре, не глядя: «Если что, звоните Кравцовой». Она спросила: «Что именно?», и он только поправил ремень.

Двадцать шестое выпало на среду.

* * *

Соседку из главного дома звали Клавдия Ефимовна Рогова. Она служила кладовщицей на хлебозаводе, была сухая, подвижная, с мелкими жёлтыми глазами, в которых всегда стоял вопрос: «А вы кому это?» С Анной Николаевной поздоровалась в январе, потом перестала.

Белова знала про неё одно: что в декабре, когда она возвращалась со службы за полночь, на втором этаже главного дома слегка отодвигалась занавеска. Только слегка.

Это знание не помогло ей в тот вечер.

Она вернулась в одиннадцатом часу. Мать, в вязаной кофте, штопала у лампы чулок и подняла голову: «Чаю?» — «Нет, мама». Белова сняла китель, повесила на спинку стула, села на койку расшнуровывать сапоги. На полке стояла красная книга «Краткий курс», как стоит она в каждом доме. В кармане кителя, в левом нагрудном, лежали два листка. Она знала это, не проверяя, как знают, что в груди бьётся сердце.

Стук в дверь был негромкий, вежливый, три раза подряд.

— Не открывай, — сказала мать.

— Если не открою, будут ломать.

За порогом стояли трое. Впереди высокий, плотный, лет сорока пяти, с бледным опухшим лицом и вялыми веками, в габардиновом пальто и шляпе; за ним двое помоложе, в кожанках, один с портфелем. Высокий снял шляпу, как снимают в церкви.

— Белова Елена Романовна? Майор государственной безопасности Рындин. Третий отдел. Вот ордер.

Он подал бумагу двумя пальцами. Белова прочла. «Ордер на арест и обыск № 2417. Санкционировано помощником прокурора края Смирновым». Она подняла глаза.

— Прокурор Лукин в отъезде, — сказала она.

— Знаю, — кивнул Рындин. — Потому и Смирнов. Товарищу Лукину сообщат по возвращении. Разрешите?

Он вошёл, и в комнате сразу стало тесно. Один из конвойных сел на корточки перед сундуком. Другой осторожно, двумя руками, взял с полки красную книгу и принялся листать, тряся каждый переплёт. Анна Николаевна поднялась со стула и стала у стены, держа в руках недоштопанный чулок. Лицо у неё было белое, но спокойное.

— Лена, — сказала она. — Ты не бойся.

— Я не боюсь, мама. — Белова стояла посреди комнаты, глядя на бумагу. — Я считаю.

— Что считаешь?

— Всё.

Обыск шёл сорок минут. Вывернули сундук, вытряхнули подушку, простучали пол и подоконник. Рындин сидел на табурете у двери и смотрел не на вещи, а на лицо. Когда китель, брошенный на спинку стула, оказался в руках у младшего, он только слегка наклонил голову.

Младший вывернул карманы. Достал расчёску, носовой платок, огрызок карандаша, пропуск. Из левого нагрудного два листка: один сложенный вчетверо, плотный, казённый, другой из школьной тетради, мягкий от ношения, с обтёртыми сгибами.

Рындин развернул первый.

— «Выдан гражданке Беловой Елене Романовне», — прочёл он вслух, без выражения. — «Состав семьи: мать. Адрес: не требуется. Срок действия: бессрочно». — Он поднял глаза. — Что это?

— Вещественное доказательство по делу тысяча шестьсот шестого. Найдено у головы убитой Рыбниковой. Мой документ.

— У вас в кармане.

— Прокурору Лукину я его сдам по возвращении, — сказала Белова. — Это записано.

— Где?

— В рапорте.

— Рапорт я не видел. — Рындин положил бланк на стол, разгладил. Потом взял второй листок. Он читал его дольше, и Белова слышала, как тикают ходики на стене, мерно, в такт шагам кого-то по двору. — «Резус». «Посттравматический». «Презумпция». — Он поднял бровь. — Это что, шифр?

— Слова.

— Вижу, что слова. Чьи?

— Мои.

— Почерк разный, — сказал Рындин. — Первые два женский. Третье мужское, мелкое, карандашом. Кто?

— Знакомый.

— Какой знакомый?

— Из угрозыска.

— Фамилия?

Она смотрела на бумагу. Мать, стоявшая у стены, перестала дышать.

— Не сейчас, — мягко сказал Рындин. — Время у нас есть. — Он сложил оба листка, не торопясь, убрал в портфель. — Собирайтесь, Елена Романовна. Тёплое возьмите. Там сыро.

Она надела китель, застегнула, поправила воротник. Подошла к матери. Анна Николаевна достала из рукава платок, но не стала вытирать глаз, а сунула дочери в ладонь.

— Возьми. Он чистый.

— Мама.

— Ничего не говори, — сказала мать одними губами. — Просто иди.

Белова поцеловала мать в сухую щёку, взяла с вешалки шинель и пошла к двери. На пороге обернулась. Мать стояла посреди комнаты, как стояла бы на вокзале, в вязаной кофте, с чулком, и смотрела ей вслед.

Во дворе, под окном второго этажа, колыхнулась занавеска.

* * *

Подвал на Пушкинской она знала по рассказам, а теперь узнала по запаху: сырость, дезинфекция, махорка, мокрый камень. Её провели через двор, потом по лестнице вниз, мимо железной двери с глазком, через коридор, по которому гулко отдавались шаги конвоира, и поместили в камеру номер одиннадцать на среднем ярусе. Надзиратель, пожилой, с лиловым лицом и висячими усами, пояснил, как объясняют гостье в доме:

— Верхний занят. Случайно. Там у нас сегодня полно: ночью пригнали тридцать человек. А вы, гражданка, на среднем, тут спокойнее.

Камера была узкая, четыре шага в длину, два в ширину. Койка, прикованная к стене, параша под ней, окошко под потолком, забранное решёткой и грязное снаружи. Потолок низкий, сводчатый, в потёках, кирпичный. Лампочка в проволочной сетке горела всю ночь. Когда дверь закрылась, она села на койку и долго разглядывала стену напротив, серую, шершавую, с нацарапанными кем-то цифрами: тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Потом цифры обрывались.

Она легла, не раздеваясь, укрылась шинелью. Спать не удалось. Но через час ей пришло в голову, что можно считать. Она стала считать шаги надзирателя. Двадцать шагов туда. Двадцать два назад. Дверь лязгает: короткий звук, не тугой, а сухой, как лязг ключа в стальном замке. Скрип. Дальний кашель. Пауза. Так она узнала распорядок яруса: раз в сорок минут обход, в два часа ночи проверка, в шесть подъём, в семь баланда.

Допросы начались на второй день, в светлом кабинете на первом этаже, с окном на двор. Рындин не повышал голоса.

— Вы знаете, в чём вас подозревают?

— В хранении антисоветских материалов, судя по ордеру.

— Ордер написан для порядка. — Он переложил папку. — Я хочу понять, зачем советскому работнику слово «презумпция».

— Оно юридическое.

— Оно буржуазное. — Рындин снял очки, протёр платком. — Товарищ Вышинский на этот счёт высказался ясно: презумпция невиновности — выдумка либеральной юриспруденции, чуждая нашему правосознанию. Советский следователь не исходит из того, что человек невиновен. Он исходит из того, что истина установлена. Вы с этим не согласны?

— Я не высказывала мнения.

— Но слово записали.

— Слово слышала.

— От кого?

— От знакомого.

— От того, чей почерк. — Он нацепил очки. — Тоже работает в угрозыске. Фамилия?

Она не ответила. Он не стал настаивать, а перешёл на другое: кто бывает в её комнате, с кем разговаривает Орлова, где она была шестого января. Он спрашивал мелко и вежливо и ни разу не посмотрел ей в глаза: смотрел на висок.

На третий день он вдруг спросил про двадцать первое декабря, про визит к тётке Рыбниковой, и она поняла, что то, что она сделала тогда без разрешения, из самолюбия, лежит у него в папке, аккуратно подшитое, с датой.

— Приходила, — сказала она. — Узнать про ночёвку больных. Через девятнадцать дней Рыбникова убита, и виновата в этом я. Не вы, не она.

— Это вы подпишете?

— Нет. Вы не про это спрашиваете.

Рындин закрыл папку.

* * *

На шестую ночь она услышала шаги.

Не надзирателя. Те были мягкие, тряпичные, он ходил в валенках с галошами. Эти были тяжёлые, чёткие, в сапогах, и шли они не по ярусу, а вниз, гулко, звонко, и под каждым ударом пели чугунные ступени. Раз. Два. Три. Она лежала на спине, глядя в потолок, и считала. Двадцать. Тридцать. Сорок. Шаги уходили всё глубже, и звук менялся: сначала звонкий, потом глухой, потом исчез совсем. Она насчитала шестьдесят две ступени.

Потом, очень далеко, где-то под полом, глухо лязгнула дверь. Тяжёлая, толстая, обитая железом. Скрипнули петли, и в камеру, через щель под дверью, потянуло холодом, сухим, без запаха, каким дышит погреб, в котором зимой хранят лёд.

Она села.

Шаги вернулись минут через двадцать: вверх, медленнее.

Утром надзиратель, разливавший баланду, остановился у её окошка.

— Вы, гражданка, ночью не пугайтесь. Это комендант. Он по ночам за ветчиной ходит.

— За чем?

— Ветчина у нас в леднике. Для начальства. — Надзиратель хмыкнул. — Не пугайтесь. Он человек аккуратный. Только ключ у него один.

— А где ледник?

— Внизу. — Он ткнул пальцем в пол. — Под нами. Старый, купеческий. Лёд с Амура в феврале привозят, на всё лето хватает. Я сам не бывал. Не пускают.

Она поблагодарила. Он удивился, как удивляются, когда в камере благодарят за баланду.

* * *

В ту же ночь, за пять кварталов оттуда, в комнате на Серышева, где пахло псиной и стружкой, а на столе лежала недоеденная корка хлеба, Волченко сидел на койке, не раздеваясь, и слушал звук, которого не могло быть.

Он вернулся из Благовещенска в субботу, двадцать девятого, и узнал от Мухина на вокзале. Кравцова сказала, что дело в третьем отделе, что защиты не допускают до окончания следствия, а на запрос Лукина ответили: «арест произведён в соответствии с законом». Он сидел с тех пор вечерами в комнате, не раздеваясь.

Шаги пришли около трёх. Чёткие, чугунные, вниз. Они не принадлежали ни его комнате, ни его улице, ни этому году; они были из другого, вымытого мира, где всё чистое и светлое, и кто-то, невидимый, считал сквозь них, медленно: «Давление шестьдесят… пульс сорок два…» Потом шаги оборвались, и осталась тишина, в которой стучало его сердце.

Тихон поднял голову и посмотрел на него.

— Слышал? — спросил Волченко.

Пёс положил голову обратно на лапы.

* * *

Корнеев пришёл на девятый день.

Это было в пятницу, четвёртого апреля, около десяти вечера. Надзиратель, тот самый, с лиловым лицом, сказал: «Пойдёмте, гражданка», и повёл не в светлый кабинет на первом этаже, а наверх, по лестнице с чистой ковровой дорожкой, в комнату, где пахло табаком и горячим чаем.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.